

ЛАУРЕАТ «РУССКОЙ ПРЕМИИ»
АВТОР «ПАРОХОДА В АРГЕНТИНУ»

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

ОДИН ЧЕЛОВЕК

...

роман



НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ МЫСЛЯЩИХ.

— АННА БЕРСЕНЕВА

Большая литература. Алексей Макушинский

Алексей Макушинский

Один человек

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Макушинский А. А.

Один человек / А. А. Макушинский — «Эксмо»,
2021 — (Большая литература. Алексей Макушинский)

ISBN 978-5-04-156616-6

Роман «Один человек» – один из первых литературных откликов на пандемию коронавируса. Магическая проза Макушинского приглашает читателя отправиться вместе с рассказчиком на поиски себя, своей юности, первой любви и первой дружбы. Коронавирус становится метафорой конца огромной исторической эпохи. Не потому ли рассказчик обращается к ее началу – к фламандской живописи, где впервые появляется индивидуальный неповторимый человек? Подобно ван Эйку, он создает портрет отдельного, особенного человека. Ритм повествования похож на американские горки, где медленное погружение во внутренний мир героя вдруг сменяется стремительным нарративом, в котором перед читателем проносятся и средневековая Европа, и доперестроечная Москва, и Ярославль, и Кавказ, и оцепеневшая от приближающейся пандемии Бельгия.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-156616-6

© Макушинский А. А., 2021
© Эксмо, 2021

Алексей Макушинский

Один человек

© Макушинский А., текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Parce que, continua Cormery, lorsque j'étais très jeune, très sot et très seul, vous vous êtes tourné vers moi et vous m'avez ouvert, sans y paraître, les portes de tout ce que j'aime en ce monde.

Albert Camus

– Потому что, – продолжал Кормери, – когда я был очень молод, очень глуп и очень одинок, вы приняли во мне участие и открыли для меня, как бы походя, пути ко всему, что я люблю в этом мире.

Альбер Камю

Это было давно; очень давно; в ту далекую пору, когда, например, в Монголии правил человек по имени Цеденбал, что породило среди циничных московских школьников и не менее циничных московских студентов прекрасную шутку о трех степенях слабоумия: дебил, имбецил и цеденбал; в ту далекую пору, когда в какой-то другой, но тоже дружественной стране правил другой, но тоже выдающийся деятель мирового коммунистического движения по фамилии то ли Нетто, то ли Нето, с ударением то ли на первом, то ли на втором слоге, каковой деятель, прилетев в Москву, родину всех трудящихся, и здесь, в Москве, совершенно неожиданно для этих трудящихся отдав боевой дух святой бородатой троице, еще смотревшей со всех стен и стендов на замороженный ею мир, полетел обратно в свою экзотическую страну в цинковом правительственном гробу, что породило среди неизменно циничных московских школьников и непоколебимо циничных московских студентов не менее прекрасную шутку: приехал нетто, уехал брутто.

И я сам не знаю, конечно (или, может быть, теперь знаю, но тогда я не знал), почему мне вспоминалось все это по дороге из Мюнхена в Бельгию, в Льеж, Гент и Брюгге, куда мы с Жижи отправились в поисках моря, покоя, ван Эйка, спасения от китайского вируса. Довольно глупо спастись от китайского вируса, уезжая в соседнюю страну, где он тоже есть, сейчас появится, уже появился, и где в любой гостинице, на любой бензоколонке, в любом ресторане у тебя бесконечно больше шансов его подхватить, чем если бы ты сидел дома, читал «Осень Средневековья». Просто понимали мы, что мир скоро закроют. Закроют границы, закроют гостиницы. Заодно закроют и выставки. А в Генте как раз была выставка ван Эйка, прославленная на весь сетевой свет всеми «порталами», всеми «френдами» на всем «фейсбуке» и во всяческом «твиттере». Билетов на нее не было, на эту выставку. Билеты надо было заказывать по интернету. Когда Жижи в него ткнулась, затем я сам в него ткнулся, выяснилось, что нет никаких билетов, в помине, в природе, на ближайшие три недели. Есть один жалкий билетик на следующий четверг в 21:30 и целых три билетика на пятницу через десять дней в 8:30 утра. В четверг, наверное, проскочил еще последний счастливчик, через десять дней в пятницу все уже было кончено. Мы все-таки решили попробовать – вдруг получится, вдруг попадем. А не попадем, так и ладно. А зато море увидим. А я всю жизнь стремлюсь к морю, с самого детства. А кто знает, когда мы его снова увидим, увидим ли когда-нибудь вообще. А может быть, хватит начинать фразы с этого идиотского «а»? А может быть, это крик моего отчаяния? А вам не хочется закричать? А потому что всегда было страшно в этом лучшем из миров, на этом сияющем свете, а теперь уже совсем стало страшно.

Нам страшно не было. Не пускают в Италию, поедem в Бельгию, что нам? Заодно ван Эйка посмотрим, или не посмотрим, неважно, заодно и море увидим, по Брюгге походим. Где

ван Эйк, там и Рогир ван дер Вейден. А Рогир ван дер Вейден всегда был моим любимцем. И ван Эйк всегда был моим любимцем. Ван Эйк и Рогир – на первом месте и на втором месте в моей личной иерархии восхищения, с той минуты, когда я увидел Рогиров мужской портрет в музее имени Пушкина. Какой портрет? Сейчас скажу какой (скажу когда, скажу с кем). Потому что нужно навести хоть какой-то порядок в мыслях, сперва поговорить об одном, потом о другом, сперва о дальнем, после о близком (или наоборот), сначала о Рогире, потом уж о Цеденбале. А ведь порядка никакого нет, вот в чем дело. Все мешается, путается. Все сразу является перед нашим внутренним взором. Все сразу, мешаясь и путаясь, проходит перед внутренним взором нашим. А перед внешним проходят грузовики. Мы обгоняем грузовики, обгоняем и легковушки. При появлении в зеркальце красного «Астон Мартина» все ничтожные «Мерседесы», убогие «БМВ» устремляются в правый ряд. Преимущество миллионерских автомобилей в том, что дорога перед ними всегда свободна и парковка для них всегда есть, на любом тротуаре. Еще я обожаю их рык. Рык гоночной машины подобен львиному: в индустриальных джунглях сразу наступает почтительное молчание. Если бы я сумел навести хоть какой-то порядок у себя в голове, я был бы наконец, наверное, счастлив. В мастерской художника порядка не может быть, говорил мне Яс, Яков Семеныч, Яков Семенович. Порядок должен быть на картине. Вот там порядок должен быть, да. На какой картине? На картине ван Эйка, на картине Рогира, на картине еще кого-нибудь из любимых наших художников. Была выставка Рогира в Пушкинском музее в ту далекую пору, когда в Монголии правил Цеденбал, а в Советию прилетал Нетто, улетал Брутто. И ты, Брутто? И я. Скорей уж я Марк Антоний. Нет, я думаю, никакой отдельной выставки Рогира не было и не могло быть в Пушкинском музее в прекрасное время Брутто, Нетто, Цеденбала, Олигофрена. Но какая-то была все же выставка, на которой мы видели мужской портрет работы Рогира (или так мне теперь кажется, так теперь помнится); не просто видели, но глядя на который, стоя перед которым мы, собственно, и познакомимся с Ясом.

Я взял с собою в это безумное бельгийское путешествие маленькую (не такую уж маленькую) книжку Цветана Тодорова (Tzvetan Todorov) «Похвала индивидууму», или «Похвальное слово индивидуальности», или уж переводите как знаете (*Éloge de l'individu*); книжечку (как раз и посвященную раннефламандской живописи, возникновению индивидуальности в ней), которую купил когда-то в Дижоне, бывшей столице бывшего Бургундского герцогства. Они ведь все служили дижонским герцогам – и ван Эйк, и Рогир, и Робер Кампен, учитель Рогира, тоже прекрасный. И само Бургундское герцогство было прекрасное: мечта моя с тех пор, как Яс рассказал мне о нем. Есть рогировский портрет последнего герцога – Карла Смелого – в берлинском музее; я иногда езжу в Берлин, просто чтобы посмотреть на него (не только за этим; но приятно так думать). Там же есть не рогировский, но, по-видимому, кем-то из учеников Рогира с его, рогировского, с тех пор утраченного портрета скопированный портрет предпоследнего герцога – Филиппа Доброго; оба (как же иначе?) с орденом Золотого руна на груди. Но это был – вечность назад, в музее имени Пушкина – не тот портрет, и не другой, а – какой? Удивительным образом, я не могу теперь вспомнить какой. И не только теперь я не могу вспомнить какой, но я всю целую жизнь вспоминаю – и не могу вспомнить какой. Это был... это был... какая разница, какой это был портрет? Никакой, ты права. Ты права, Жижи, никому никакого дела нет теперь до того, на какой портрет какого Рогира мы смотрели с Ясом – сколько лет назад? – сорок лет назад! вот уже сколько; мне одному это важно. Мне очень важно было бы теперь вспомнить, какой это был портрет. Просто потому что это не мог быть ни портрет Франческо д'Эсте из музея «Метрополитен» (его показывали в Москве в 1975-м; слишком рано), ни портрет неизвестного мужчины из мадридского собрания Тиссена-Борнемисы (тот был в Москве в 1987 году; слишком поздно). А мы стояли в 1979 году перед этим (перед каким же?) портретом; вот это я помню совершенно точно. Осенью 1979 года мы стояли (перед каким?) мужским портретом Рогира ван дер Вейдена, и мне было всего шестнадцать, и этот портрет

поразил меня на всю жизнь (хоть я и не могу теперь вспомнить, какой именно портрет это был; с тех пор я видел их, кажется, все), и стоявший рядом со мною, еще (как я теперь понимаю) совсем молодой, но показавшийся мне, в мои шестнадцать, очень взрослым, чуть ли не пожилым, в невероятно пижонском темно-сером (так помнится мне) костюме, из-под рукавов коего выглядывали, случалось, тоже поразившие воображение мое золотые запонки с черным агатом в каждой, – Яс, стоявший рядом со мною и уже несколько времени (я замечал это) за мной наблюдавший, произнес, повернув ко мне свою круглую голову, откровенно и пристально посмотрев на меня черными агатами своих словно внутрь мерцающих глаз: да, вы правы; и не надо, Жижи, в сотый раз говорить мне, что осенью 1979 года в московском музее имени Пушкина не могло быть никакого портрета работы Рогира, и что, значит, я все перепутал, значит, память моя все перепутала, и что мы стояли, скорее всего, перед каким-то другим портретом, работы какого-то другого художника, и только потом, может быть, спустя столько-то и столько-то лет – перед портретом Рогира, и что это я впоследствии, в долгом течении жизни, смешал одно с другим, все смешал, все свалил в кучу, и все равно это было сорок, и даже не сорок, а сорок с половиною лет назад, и главное, самого Яса тоже, вот что главное, давным-давно уже нет на земле.

Его нет на земле; он умер от гриппа; от просто гриппа; ни от какого еще не китайского. И как же, спрашивается, мог я не думать о нем, убегая, бессмысленным образом, от теперь уже в самом деле китайского, очень китайского, в высшей степени китайского гриппа в Бельгию, в поисках ван Эйка, в поисках Рогира, покоя, воли, в вечном стремлении к морю, перед самым закрытием мира? Мы проедем сначала Нюрнберг, потом Вюрцбург. Мы в Вюрцбург, нет, не заедем – чтобы снова (в который раз?) посмотреть, например, на потолок, расписанный Тьеполо, самый невероятный потолок на этой (на которой больше нет Яса) земле; мы покатаем просто-напросто дальше, на Франкфурт. У него глаза были совершенно такие же, какие бывают на портретах Рогира или ван Эйка, с повернутым внутрь мерцанием, с отблеском иного покоя, иной воли, не исчезающих в треволнениях земного странствия (земного стремления); он слег с простым гриппом (температурой, кашлем, и т. д. и т. п.) в марте 2005-го; был уверен, что скоро поправится; по телефону (кашляя) говорил мне, что это чепуха, просто грипп; собирался лететь в Барселону (где мы с ним должны были встретиться). Потом уже Тамара Сергеевна, его еще-не-вдова, мне прислала и-мейл (или е-мейл? или как вам будет угодно) с сообщением, что он в больнице, с воспалением легких и еще какими-то не предвиденными никем осложнениями. Осложнения редко бывают предвиденными. Он сам ни и-мейлов, ни е-мейлов не писал вообще и в принципе; компьютеры ненавидел; наш brave new world презирал; звонил, случалось, по телефону; даже, бывало, из разных мест мира присылал мне открытки (всегда особенные, с самыми смешными, самыми неожиданными картинками; из, помню, Флоренции, где вообще-то есть на что посмотреть, – открытку с катастрофически-комическим памятником двум борцам за освобождение Италии, один из коих, сверкая глазами, правой рукой наставляет на тебя реалистический револьвер, левой держит то ли раненого, то ли уже убитого, как мешок повисшего у него на руке соратника-гарибальдийца; в Италии, сообщалось в открытке, на половине памятников написано роета, на другой половине памятников написано patriota; что до него, Яса, то он не поэт и не патриот, поэтому завтра улетает в Москву).

Кто мог вообразить себе все это, когда мы стояли там, в Москве, в другом тысячелетии, перед мужским портретом (я настаиваю) работы Рогира, поразившим меня? Вы правы (сказал он, обратив ко мне круглую голову): искусство портрета – самое высокое искусство на свете. Потому что интересен только человек; все прочее – побочные обстоятельства. Голова у него была очень круглая, очень большая; на щеках и на подбородке проступала (потом выяснилось, что всегда проступала, как бы часто и тщательно ни брился он) синева, если не чернота; подбородок какой-то был древнеримский, сразу напомнивший мне один из тех бюстов, что стояли – и до сих пор, я полагаю, стоят – в другом зале того же музея имени Пушкина: то ли Адри-

ана, то ли Августа, точно не Антиноя. А что он еще сказал, я не помню. Я только помню, что больше он уже никогда ко мне не обращался на вы. (А я так и не отучился называть его Яков Семенычем; за глаза, впрочем, очень скоро начал называть его Яс; он смеялся, когда узнал: я-с, ты-с, он-с... А я скорее думал об асах. Вы же ас, Яков Семенович? – В чем же я, по-твоему, ас? – Во всем... Он продолжал смеяться, но был, похоже, доволен.) До этого мы еще не дошли. Мы еще (вот это я помню; или мне кажется, что я помню) походили порознь по музею, по (какой же все-таки?) выставке – и потом опять оказались вдвоем перед картиной Рогира, которую я твердо решил считать (вопреки хронологии) не (к примеру) портретом Франческо д'Эсте из музея Метрополитен, а именно портретом неизвестного из мадридского собрания Тиссена-Борнемисы; и потому я решил считать так, что, в отличие от портрета Франческо д'Эсте (невероятно прекрасного), в этом портрете неизвестного (прекрасном не менее) есть некое сходство с самим Яковом Семеновичем: сходство, поражающее меня всякий раз, когда я теперь разглядываю его. Садись за руль, Жижи, а я еще немного его поразглядываю, хотя бы в айфоне.

Это сходство не внешнее; внешнего нет никакого. У Яса не было ни этих тонких губ (наоборот, губы у него были полные, особенно нижняя, с внезапным извивом посерединке, как если бы нижняя губа соперничала с верхней губой), ни этих впалых щек, ни этого длинного узкого носа, ни тем более этой черной челки, этой прически «скобочкой»; даже этих удивленно поднятых бровей, пожалуй, не было у него, или только изредка бывали они у него; этих кругов усталости под глазами еще тоже не было у него. И глаза были темнее, чернее; были черные агаты, а не глаза. Но это изумление в них было (бывало); это внутреннее мерцание в них было (всегда); эта печаль была в них (тоже всегда). На портретах (именно на портретах) Рогира, как и его учителей (ван Эйка, Кампена), задний план обычно отсутствует. Есть только фон – светлый (как на портрете Франческо д'Эсте) или (чаще) темный (как на том, перед которым, я продолжаю верить, мы стояли сорок с половиной лет назад вдвоем с Ясом, который я теперь разглядывал в айфоне, покуда Жижи с львиным рыком обгоняла несчастные «Мерседесы»). Лица на портретах ван Эйка, Кампена и Рогира возникают из ниоткуда, из (как правило) темного фона; они индивидуальны (не просто они индивидуальны, но, как тысячу и две тысячи раз читали мы в разных книжках и слышали в разных лекциях, с них в живописи Нового времени и начинается, собственно, искусство индивидуализации, изображения вот именно этого, конкретного человека – не «типа», не «символа», так что совершенно точно, удачно, сказал бы я, озаглавил Цветан Тодоров свое чудное сочинение – *Éloge de l'individu*, – которое не читал, но по крайней мере перелистывал я, отложив айфон в сторону, на подъезде к Нюрнбергу, покуда Жижи с львиным рыком обгоняла «Мерседесы», обгоняла даже и «Порше»); все же они, эти нам известные или неведомые нам персонажи, со всеми их неповторимыми лицами, их одеяниями, иногда символическими (почему золотые цепи под воротником у Франческо д'Эсте? почему перстень, почему молоток у него в руке? ученые, кажется, до сих пор спорят об этом) – все же они кажутся выхваченными из контекста, из более невообразимой для нас жизни, помещенными в какое-то абстрактное пространство, которое, удивительным образом, нас не отделяет от них (как отделило бы любое конкретное), но сближает с ними, единит и роднит с ними. Мы сами, огромной частью нашей души и жизни, пребываем в этом пространстве, вне времени. Очень точно говорит Цветан Тодоров, что они явлены нам между мгновением и вечностью (*entre instant et éternité*). Есть отрешенность в их лицах. Они показаны обычно в три четверти; они смотрят не на нас, но куда-то, куда мы обычно не смотрим, но куда (нам кажется, или мне всегда так казалось, так показалось уже в тот бесконечно давний день, когда мы с Ясом познакомились в музее имени Пушкина) – куда мы тоже можем, тоже вольны посмотреть, отчего это неведомое «куда-то», куда они смотрят, оказывается, может быть, самым важным, что мы здесь вообще видим. Мы его не видим, но мы его видим. Это я пишу теперь, или это Яс говорил мне впоследствии? Он точно мог бы так говорить. Он сам всегда смотрел в то «куда-то», что не

мешало ему быть вполне здесь, быть пижоном и модником, покупать дорогие вещи, картины, перстни, старинные книги.

Никакого перстня я не помню у него на руке. Помню (никогда не забуду) запонки, поразившие воображение мое. А он их показывал; поводил иногда руками, чтобы манжеты вылезли из рукавов. Я в свои шестнадцать лет таких запонок и не видывал. Что я вообще в свои шестнадцать лет видывал? Я только в джинсах, может быть, разбирался, джинсы Super Rifle («райфлы») с лету отличал от джинсов Levi's («левисов»); все прочее было вне моего горизонта. Все же и моих горизонтов хватило, чтобы оценить его костюм по достоинству; а вот какого цвета был платочек в нагрудном кармашке, этого, Жижи, нет, и этого, извини меня, я не могу теперь вспомнить. Но платочек был, и тоже какой-то особенный, какой-то, что ли, оранжевый. А у кого в Совдепии бывал тогда платочек в кармашке? А уж об оранжевом платочке в кармашке никто тогда в Совдепии и помыслить не смел, не так ли? Да будь я царем Совдепии, генсеком Империи, я бы сразу арестовывал за платочек в кармашке, тем более если этот платочек еще и оранжевый. Потому что нечего, товарищи, разводить тут буржуазные футынуты... Когда мы снова оказались вдвоем у Рогировой картины, он снова повернул ко мне свою круглую голову (с уже тогда намечавшимися залысынами), посмотрел на меня мерцающими внутрь глазами – и затем сообщил мне, с совсем для меня неожиданной, какой-то, я бы сказал, шальной, даже, сказал бы я, чуть-чуть хулиганской усмешкой, что существует в природе кружок юного искусствоведа во дворце, прости господи, пионеров – и чтобы я туда приходил. «Прости господи» он не сказал. Но я не знаю теперь, какое слово он произнес с большей иронией и более шальной усмешкой: «дворец», «кружок», «пионеров» или всего-таки «юного»? Нет, наверное, все-таки «искусствоведа». Слово «искусствоведа» он произнес присюсюкивая. Он долго произносил его присюсюкивая, прямо высюсюкивал его из себя. Он только что получил степень доктора искусствоведения, как вскорости выяснилось. И что ж, ты пошел? Да, я пошел. А вот где они сами шли, эти курсы, нет, я не помню. Иногда мне кажется, я вообще ничего не помню. Все путается в моей памяти, все сразу является перед внутренним моим взором, и тот день, и те запонки, и ван Эйк, и Рогир, и те дурацкие шутки про несчастного Нетто (Нето), несчастного Цеденбала, и те анекдоты, которые теперь так редко кажутся нам смешными, в лучшем случае кажутся детскими, от которых тогда ухохатывались. А ведь это была эпоха, когда все всем рассказывали анекдоты, когда встреча друзей, приятелей, случайных знакомых неизбежно и неизменно включала в себя ритуал рассказывания новых анекдотов: более или менее политических, в зависимости от степени доверия этих знакомых друг другу; более или менее неприличных, в зависимости от характера отношений. Анекдот слышали? Убегают от бандитов Жискар д'Эстен, Джимми Картер и Брежнев, Леонид Ильич. Жискар д'Эстен написал записку, бросил на землю: бандиты прочитали и дальше за ними бегут. Картер написал записку, бросил на землю: бандиты опять прочитали и опять за ними бегут. А Брежнев как написал записку, как прочитали ее бандиты, так и рванули в обратную сторону. Остановились Брежнев с Картером и Жискар д'Эстеном, отдышались и спрашивают друг у друга, кто что написал. Я посулил им всех женщин Франции, говорит Жискар д'Эстен. А я пообещал все деньги Америки, говорит Картер. А вы что написали, Леонид Ильич? А я написал: мы бежим к коммунизму, а вы куда?

Тебе смешно, Жижи? Да теперь это и мне, пожалуй, смешно. Но не потому смешно, почему это тогда было смешно или было совсем не смешно, а потому что где теперь все это? Смешно и страшно, как далеко теперь все это, в какую бездну рухнуло, в какую пропасть упало... И вот Яс, один из умнейших и образованнейших людей, встречавшихся мне под этим небом, на этой земле, знаток ранней фламандской, и поздней фламандской, и всяческой другой живописи, усидчивый читатель Спинозы, Пруста и кого-только-не, – вот все-таки Яс то и дело, при встрече со мною и не со мною, считал нужным рассказать какой-нибудь смешной, не смешной, более или менее смешной анекдот – и только потом уже переходил к разговору о Николае Кузанском. Почему Брежнев на люди показывался, а Черненко не показывается? Потому

что Брежнев работал на батарейках, а Черненко от сети... Это было, значит, после, когда незабвенный Леонид Ильич уже добежал до коммунизма, помахивая бровями, когда и сухой, страшный, очкасто-кашеистый Юрий Владимирович, на счастье наше, тоже убежал от бандитов. И я это хорошо помню, вот это-то помню, потому что мне было уже девятнадцать, потом было двадцать, и в девятнадцать и в двадцать я сходил с ума от любви. Теперь никто, кажется, не сходит с ума от любви, ни в двадцать, ни в девятнадцать. Тогда еще, случалось, сходили. Так сильно сходили с него (ума) от нее (любви), что уже готовы были совсем и в самом деле сойти с него от нее – как из набитого троллейбуса в растоптанный грязный снег, на продуваемую всеми ветрами и вихрями серую улицу, – но потом хватались все же за поручень, вскакивали на подножку обратно, уезжали во взрослую жизнь.

А сперва только слайды. Только вспышки в темноте, отдельные слайдики, сугробы, сосны, не растоптанный и даже не грязный, но разъезженный грузовиками снег на какой-то окраине, Яс в великолепной дубленке, еще бы, потом в костюме, великолепном не менее, какой-то его знакомый в длинной и черной блузе, с длинной острой, тоже черной бородкой, к которому (где-то и почему-то; но почему и где?) мы зашли, который (как и Яс) оказался собирателем старинных вещей, показывал ему (заодно уж и мне) то ли японские, то ли китайские (тоже длинные, хотя и не черные), должно быть драгоценные, свитки... все кружится, все путается, не уверен даже, что это вообще было, и если было, то когда это было?... и да, действительно, слайды, из (какого? провалилось все) аппарата спроецированные на белый, большой, киношно-полотняный экран, и на них те картины, которые мне предстояло потом смотреть всю жизнь, в разных музеях и в разных городах мира; и я не знаю по-прежнему, было ли это во дворце (действительно, прости господи) пионеров, или это было на каких-то подготовительных (прости и это, господи) курсах для прыщавых старшеклассников, судорожно пытающихся выбрать, куда им *поступать* (важнейшее слово в том возрасте, в ту эпоху), чуть ли не в старом университете на Моховой, или все же в новом университете на Воробьевых (тогда, конечно, Ленинских, вот этого Господь уж точно не простит мне) горах, – на каких-то, во всяком случаях, курсах и лекциях, где я сиделся подальше, повыше (ага, это был амфитеатр? да, теперь мне так кажется, так вспоминается: это был какой-то где-то амфитеатр) и оттуда, сверху, наблюдал за Яков Семенычем, время от времени, когда ему нужно было переменить картинку, необыкновенным, благородно-сдержанным, скромно-княжеским жестом, являя мне и миру свои невероятные запонки, заодно покоряя, мне думается, сердца всех находившихся в этом амфитеатре, уже, впрочем, и так очарованных им девиц, – за Яков, еще раз, Семенычем, время от времени взмахивавшим белой аккуратной рукою с вытянутым вперед, как у Микеланджело или у Караваджо, указательным пальцем, в сторону стертого забвением помощника, занятого уходом за аппаратом, после чего аппаратик шелкал, амфитеатр темнел, потом появлялся на экране автопортрет старого Рембрандта (перед которым много лет спустя мы стояли с ним в Амстердаме), появлялся географ Вермеера (перед которым стояли во Франкфурте), появлялись, до Рембрандта, до Вермеера, тот же ван Эйк, тот же Рогир, о которых Яс говорил так, как будто с ними был знаком, даже дружен, расстался позавчера, должен был снова встретиться послезавтра, при том что (говорил он) наши сведения о них обо всех столь скудны, что, считайте, их почти и нет, этих сведений, ну вот разве только известно, что ван Эйк служил бургундскому герцогу, а Рогир был городским живописцем Брюсселя, но много ли это дает нам для понимания их работ? Ван Эйк столетиями считался изобретателем масляной живописи; это не так, но, судя по всему, он ее усовершенствовал и улучшил; а вот был ли у него старший брат Губерт, об этом споры идут до сих пор. Большинство исследователей полагают, что был, хотя есть и такие, которые полагают, что не было никакого старшего брата Губерта. И точно так же мы не можем сказать с уверенностью, был ли Рогир ван дер Вейден учеником Робера Кампена, и даже если он был учеником Робера Кампена, то все равно остается неясным, был ли этот Робер Кампен тем самым художником, которого еще недавно было принято называть

Флемальским мастером, или он был кем-то другим, и если кем-то другим, то кем, вот вопрос. В общем, вопросы, вопросы и вопросы, провозглашал Яс на радость всем старшеклассникам, всем первокурсницам (если были там первокурсницы); одни вопросы и ничего, кроме вопросов; никакой уверенности и никаких окончательных истин.

Это было, в сущности, так, как если бы он взял меня за руку (своей белой аккуратной рукой – не маленькой, но казавшейся маленькой из-за белизны, аккуратности, какой-то внутренней собранности; это была *его* собранность, но в руке она тоже выражалась и сказывалась, даже если пальцы были вытянуты, ладонь раскрыта) – взял меня за мою еще полудетскую руку своей всегда собранной (даже при вытянутых пальцах и раскрытой ладони) взрослой рукою – и отвел в какое-то совсем другое место, другую страну (назовем ее Бургундским герцогством, или назовем ее Фландрией, или назовем ее как угодно), бесконечно далекую от Ленинских (прости господи) гор, и даже не просто далекую от Ленинских (прости господи) гор, но расположенную в другом мире, на другой карте. Эту карту я понемногу учился читать, по этой карте учился передвигаться. Часто ли думал я до моих шестнадцати лет о пятнадцатом веке? Я ни разу, наверное, до моих шестнадцати лет не имел случая подумать о пятнадцатом веке. А это был век исключительный, ключевой, поворотный, рассказывал Яс старшеклассникам, первокурсницам; этот век начался открытием перспективы и закончился открытием Америки – до которой (то есть Америки) нам сейчас дела нет, а вот перспектива – что значит: перспектива? Яс прекрасно умел держать паузу; он иногда так долго держал ее, что первокурсницы, старшеклассники (в особенности эти последние) уже начинали ерзать в задних рядах амфитеатра (да, это был амфитеатр, Жижи, теперь я уверен, я только не могу вспомнить по-прежнему, где это было, что это было), но Яс ни малейшего внимания не обращал на их ерзание, как если бы это ерзание, пересмешки и перегляды были частью программы, доставлявшей ему отдельное удовольствие; перспектива (провозглашал он наконец) это значит: художник показывает нам фрагмент зримого, соразмерного человеку мира, заключенный в раму картины; это значит: картина становится окном, через которое мы смотрим в пространство, по знаменитому определению Леона Батиста Альберти, великого итальянского гуманиста (запишите имя в тетрадку). Перспектива у фламандцев, следует признать, не столь безупречна, как у открывших ее флорентийских художников (у Мазаччо, у Брунеллески), но это уже она, родимая (старшеклассники гоготали); уже окно для нашего ока; а что есть важнейшее свойство окна? Важнейшее свойство окна есть его прозрачность (торжественно объявлял Яс), если, конечно, мама не забыла помыть раму как следует (первокурсницы заходились от хохота). Мама мыла раму и помыла ее самым надлежащим образом, так что и пылинки на ней не осталось. Поверхность картины становится словно несуществующей; существует лишь мир, увиденный сквозь нее. Конечно, художник не всегда рисует то, что он видит, скорее лишь в исключительных случаях рисует то, что он видит, как это делали, например, да и то не всегда, импрессионисты с их пылкой любовью к пленэру, которая сама по себе стала возможна лишь благодаря – чему? кто знает? (перебивал себя Яс, предполагая, очевидно, что никто не знает; никто и не знал). Благодаря изобретению тюбика, так-то! Потому что не было у них раньше тюбиков, вот в чем все дело; первый металлический тюбик с краской был запатентован американским художником Джоном Гоффом Рэндом (имя можете не записывать; я ничего, кажется, не записывал, а имя запомнил – как мы запоминаем в шестнадцать лет случайные, иногда совершенно не нужные нам вещи и помним их потом всю целую долгую жизнь, а важных вещей не помним, а навести порядок в своем прошлом и в своих мыслях не можем, как ни стараемся...) – был, еще раз, запатентован Джоном Гоффом Рэндом, американским художником-портретистом, лишь в 1841 году; а без тюбика какой пленэр? (торжественно спрашивал Яс у гогочущих старшеклассников, которым в самом слове «тюбик» слышалось, похоже, что-то очаровательно неприличное); до изобретения тюбиков краски, случалось, перевозили в свином мочевом пузыре, а это, согласитесь,

не слишком удобно, если хочешь ими воспользоваться где-нибудь на лужайке; тут уж счастьем старшекласников не было никаких границ, ни малейшего удержу.

Не всегда, хотел бы он продолжить свою мысль (сквозь всеобщее веселье объявлял Яс), далеко не всегда, даже и на пленэре, тем более у себя в мастерской, художник рисует то, что он действительно видит во время своей работы, в растянутое мгновение своей работы, в своем «сейчас», но он заставляет нас верить, что он рисует то, что – в своем «сейчас» – видит, заставляет нас – в нашем «сейчас», вот сейчас – видеть то, что он рисует в своем, как если бы мы вместе с ним, его глазами смотрели на открывающийся ему кусок мира. Тут, по мановению Ясовых запонок, возникала перед еще не совсем отошедшими от свиного пузыря старшекласниками ван Эйкова «Мадонна канцлера Ролена», или (ответ младшего мастера старшему, провозглашал Яс) возникал на простыне экрана Рогиров «Святой Лука, рисующий (ту же) Мадонну» – две эти родственные работы, одна за другой, с их уводящими в бесконечность задними планами (и как же странно думать, что я смотрел на них, пускай на простыне, пускай с верхнего ряда амфитеатра, но все же в первый, в самый первый раз в жизни); художник (говорил Яс) с появлением перспективы рисует не сами по себе вещи, предметы обстановки, кресла, колонны, балконы, людей, святых и мадонн, но он, с появлением перспективы, рисует собственно пространство и в этом пространстве – мадонн, святых, не-святых, балконы, колонны, горы на горизонте; Эрвин Панофский (вот это имя обязательно запишите в тетрадку, запомните навсегда) утверждает даже, что отсюда открывается путь к единому, однородному, бесконечному, математическому пространству Нового времени, к декартовскому пространству, кантовскому пространству; мнение, которое много раз опровергали, но так и не опровергли.

Я это имя навсегда и запомнил, безо всякой тетрадки; а вот запомнил ли еще что-нибудь из тех давних лекций? Конечно, говорил я Жижи, куда мы мчались с ней по всегда ревущей, всегда переполненной автостраде № 9 (А9, как говорят в Германии), потом свернули на не менее мучительную А3, – конечно, они сливаются теперь для меня с его лекциями позднейшими, словами, сказанными там-то и там-то, перед такой и другой картиной (в Москве, в Амстердаме и в Мюнхене). Откровенно *религиозный характер* этой ранней фламандской живописи причинял ему некоторые неудобства и доставлял известные хлопоты (вот это я помню); в 1979 году даже ван Эйку и Рогиру еще не было позволено так нагло и беззастенчиво исповедовать христианство. Мы, *конечно*, не верим в то, во что они верили (говорил Яс, с таким выбрасыванием вперед одной из своих запонок, с таким ироническим подчеркиванием этого *конечно*, чтобы уж ни у кого из присутствующих не осталось сомнений, что он только потому говорит это, что находится во дворце, прости господи, пионеров или на подготовительных, прости господи, курсах для благоговейных, хотя и смешливых, абитуриентов, старшекласниц и первокурсниц, прекрасно понявших намек), – нет, *конечно*, мы не верим в то, во что они верили, но нам нравится, нас восхищает мистическое молчание в их лицах. Мы жаждем той же созерцательности и того же спокойствия. Обратите внимание на статичность этих образов. У Рогира – не на портретах, но на тех картинах, которые он назвал бы *сюжетными* (говорил Яс, мановением белой руки и агатовых запонок являя патлатой публике «Снятие с креста», или «Положение во гроб», или не помню что именно) – у Рогира, на таких *сюжетных* картинах, еще бывает движение, разумеется – остановленное (это все же картины, а не кинокартины, добавлял он на радость всем старшекласникам); у ван Эйка ни на одной из дошедших до нас работ движения нет вообще; есть лишь эта удивительная, завораживающая неподвижность; неподвижность не мертвая, но исполненная какой-то таинственной внутренней жизни, нам, нынешним, уже почти непонятной, почти недоступной. Тут (мановением той же руки) «Чета Арнольфини», и «Мужчина в красном тюбана», и «Луккская мадонна», и «Мадонна каноника ван дер Пале» являлись аудитории (и как же странно все-таки думать, что я в первый раз в жизни тогда их увидел). Мир словно замер в ожидании чего-то. Это мгновение перехода, мгновение краткого равновесия. Такие мгновения долго не длятся. Что-то закончилось, или еще

не совсем закончилось, но уже готово закончиться (условно скажем: Средневековье), а что-то еще не совсем началось, только-только еще начинается (условно скажем: Новое время). А что такое: Новое время? Новое время – это наше время (объяснял Яс очарованным первокурсникам), это время, в котором мы живем до сих пор, хотя и его уже не раз объявляли законченным (кто его только не объявлял законченным в нашем с вами двадцатом столетии, произносил он не без пафоса), или почти законченным, или уже готовым (вот-вот, завтра утром) закончиться.

С тех пор его еще чаще объявляли законченным (или готовым закончиться – завтра утром, вечером в пятницу). Может быть, время вообще имеет свойство – заканчиваться? Оно длится – и оно же непрерывно заканчивается. И это тоже была его, Ясова, мысль; но где, когда он говорил это? Точно не на тех давних лекциях. Он это говорил, я уверен; я помню его слова; помню голос; помню его интонацию (часто грустную, часто насмешливую, иногда удивленную); но все остальное, все, что вокруг этих слов, расплывается; все, увы, исчезает в смутности прошлого, недостоверности воспоминаний, как вот эти машины, которые мы обгоняем на нашем рыкающем, аки лев, «Астон Мартине», обгоняем так лихо, что уже ни ты, ни я, ни мы оба (говорил я Жижи) не знаем (ведь уже не знаем, не правда ли?), кто сидел в белом «Опеле», промелькнувшем в правом ряду всего-то мгновение назад, хорошо, минуту назад, и кто сидел в другом, бордовом «Опеле» (допотопном подвиде «Опелей», называемом, если я не ошибаюсь, «Омегой»; один мой приятель ездил на таком в конце девяностых) – дядька в шляпе и еще кто? – или какой был номер, какой страны или какого германского города – Мюнхена (М), или, например, Штуттгарта (S) – у громадного грузовика с ярко-синей кабиной и ядовито-желтой фуру, в грязных подтеках, с надписью *Intelligent Logistics* по всему борту, или у фиолетового, еще более громадного грузовика с бело-тоже-фиолетовой невеселой коровой и Альпами на горизонте – рекламой шоколада *Milka* – а мы-то любим *Lindt*, ясное дело, – и кто за кем ехал, корова *Milka* за *Хитроумной Логистикой* или, наоборот, *Логистика* за *Хитроумной Коровай*. Время (говорил Яс) само по себе имеет свойство – заканчиваться. Не потому ли (он говорил) так часто провозглашают конец чего-нибудь: конец эпохи, или конец истории, или конец искусства, или конец, к примеру, романа? И это полная чепуха: история продолжается, искусство продолжается, романы пишут по-прежнему; и вместе с тем в этом есть тайная правда: время умирает, мир всегда готов рухнуть. Он не рухнет – но он готов рухнуть. Иногда кажется, что он этого хочет. А мы могли бы заехать сейчас во Франкфурт (покуда музеи не закрылись, мир не рухнул, время не умерло), посмотреть на «Луккскую (в самом деле) мадонну» все того же ван Эйка (такую отрешенную, такую загадочную), постоять перед Вермееровым «Географом» (всегда напоминавшим мне Декарта), перед которым мы так долго стояли с Ясом, много позже, теперь уже очень давно. Черт с ним, с Франкфуртом, едем дальше, мимо Висбадена (черт и с ним) через Рейн, не заезжая в Майнц, вдоль Рейна, по автострате. Как я люблю эти коричневые леса ранней весны, эту внезапную зелень елок, вкрапленную в серость холмов. Да, мы здесь ехали с Ясом, конечно, в 1995 году. Он прилетел ко мне в Мюнхен, и мы поехали с ним вот так же, как мы теперь едем, через Нюрнберг, и Вюрцбург, и Франкфурт, и после вдоль Рейна – и затем не так, как мы поедem на этот раз, спустя четверть (боже мой!) века. Мы-то поедem в Бельгию, то есть мы прежде всего заедem в Бернкастель-Кус, на родину Николая Кузанского, где мы, нет, тогда с ним не побывали, хотя это он, Яс (тоже он), мне рассказал когда-то (в мои шестнадцать или семнадцать) о совпадении противоположностей, об ученом неведении; оттуда поедem в Льеж, потом в Гент; а ему нужно было (или просто хотелось?) тогда (в 1995 году; в мои уже тридцать два, его почти пятьдесят) в Амстердам, где, впрочем, он бывал и до этого, любил бывать, где я сам впервые тогда оказался. А между прочим, тогда шенгенских виз еще не было, или только они появлялись, или только готовились появиться, и, во всяком случае, никакого права не было ни у него, ни у меня ехать ни в какой Амстердам, и разумеется, никакого «Астон Мартина» не было у меня и в заводе, а был маленький, тоже очень красный «Фольксваген Гольф», впрочем, уже новенький, хорошенький, быстренький (преды-

душий, мой первый автомобильчик, еще был куплен за три тысячи марок и имел прелестную привычку ломаться в самых неожиданных местах в самый неподходящий момент), и уж точно не приходило мне в голову, что через (боже мой!) четверть века, когда самого Яса давно уже не будет под этим (облачным, но все-таки светящимся) небом, на этой (с ее холмами и лесами) земле, я буду ехать здесь вместе с Жижи, моей любимой, вспоминая, вернее пытаюсь вспомнить что-то такое давнее, не четвертью, но уже почти половиной (еще не совсем половиной!) века отделенное от меня теперешнего, уже (скажем честно) стареющего, что-то такое давнее, дальнее, чего как будто и не было никогда, но что ведь все же когда-то было. Мне было шестнадцать, потом семнадцать лет, я был прыщавый, патлатый мальчишка, сперва старшеклассник, потом первокурсник, и нет, ни малейшего представления, ни намек на представление я не имею теперь, как, и каким образом, и почему я впервые оказался у него дома, в таком доме, где я даже не подозревал тогда, что люди живут, и где меня долго допрашивала лифтерша, кто я такой и как посмел сюда заявиться; в новом, по тогдашнему времени, но в окружении старых, лучших московских домов, возведенном Софьей Власьевной для своих верных слуг дома; в прекрасной близости от всего – от Никитских ворот, от Тверского бульвара, от Бронных улиц, от Патриарших прудов.

Не сердись, Жижи, но, мне кажется, ничего кроме бюста Тамары Сергеевны, Ясовой жены, я в тот первый визит не увидел, не разглядел. У нее был бюст какой-то прямо государственный, да и сама она была державная дама. Она в комнату не входила – врывалась. С вельможной ласковостью спросила меня о моих родителях; получив ответ, с ее точки зрения, по-видимому, удовлетворительный, снизошла до вопроса о том, куда я собираюсь *поступать* (или уже *поступил*); ответ тоже одобрила. На ней был черный свитер «с горлом» (о, вот это я помню, еще бы!); был, на свитере, на самом бюсте, золотой, подозреваю, что очень драгоценный, кулон. Кулон болтался и никак не мог найти себе места на свитере, падая то с Эвереста, то с Джомолунгмы, в общем, не справляясь с такими высотами, такими вершинами; свитер же, молодец, изо всех сил подчеркивал и сам бюст, и под ним намечавшийся, в ту пору еще только начинавший намечаться живот. И нет, нет, конечно, не получалось у меня, как в свою очередь я ни старался, отвести взгляд от этого кулона, этого свитера (и Яс это, разумеется, видел, глаза его играли усмешкой). Что до обстановки, то обстановка была музейная. Это было сплошное красное дерево, сплошная карельская береза, сплошные темные картины в сплошных темных рамах. Очень много было зеркал, с подобающей патиной. Две дочки, примерно десятилетние (одной, допустим, одиннадцать; другой, скажем, девять), явились мне как часть обстановки; промелькнули; исчезли. Я потом хорошо знал обеих. Они теперь – где? Они теперь обе, если я правильно понимаю, в Лос-Анджелесе. У обеих были его, Ясовы, черно-агатые глаза. У Тамары Сергеевны глаза были зеленые, для такой державной дамы, докторши всех наук и профессорши очень неких щей, пожалуй, даже слишком зеленые. Она только что вернулась из Эквадора с делегацией ЦК, ЦИКа, ЦИПЦИПа, ЦАПЦАРАПа, Учпрофсовета. Правда из Эквадора? Или из какой-то другой страны, не менее экзотической, из Экзодора, из Эквазота. Эквазот прекрасен, и Экзодор прекрасен не менее, но она предпочитает Перу. С делегацией ЦАРАПЦАПЦАПа она летит в Перу в августе. А оттуда летит в Аргентину. К Ясу, мне показалось, все это (и карельская береза, и патина, и Перуантина) не имело никакого отношения. То есть совсем никакого, ни малейшего. Просто он там сидел, в антикварном кресле, чуть-чуть смахивавшем на трон, с львиными мордами на резной темно-красной спинке и темно-красных же подлокотниках (каждая со своей гривой и намеком на улыбку в очерке разинутой пасти), но мог бы (я подумал; или мне теперь думается, что так я тогда подумал) вдруг встать и выйти; ЦАРАПЦАРАПА отлично обошелся бы без него.

А я уже не мог без него обойтись. И не потому я не мог без него обойтись, что он рассказал мне так много интересного о ван Эйке, о Рогире, о Рембрандте, о Спинозе, о Николае Кузанском, да и о Фоме Аквинском, случалось, рассказывал... не бойся, Жижи, я не буду при-

водить весь список, лучше остановись, пусти меня снова за руль. Да и кто его помнит теперь, этот список? Да и что – Спиноза? что – Николай Кузанский? Я и Мандельштама-то в шестнадцать лет не читал. А он мне однажды прочитал его наизусть (как мне показалось) всего, от «Камня» до «Воронежских тетрадей», и хотя он, конечно, не мог мне прочесть наизусть всего Мандельштама, но все же он мне прочитал так много из Мандельштама, за один вечер, у себя дома, сидя в антикварном кресле с перекинутой через правое колено левой ногой, которой легонько покачивал он в такт хорейам, ямба и амфибрахиям, что это было для меня и в самом деле так, как если бы он прочитал мне за один вечер всего Мандельштама, поглаживая, по своей привычке, львиную морду на подлокотнике (милую морду, нисколько не грозную, всегда готовую улыбнуться), иногда отвлекаясь, чтобы раскурить свою трубку (он курил трубки; у него в комнате была целая их коллекция на особенном трубочном столике; среди них были трубки какие-то самые драгоценные, из какого-то самого правильного бриара, или еще из чего-то, из чего трубки должны быть) и тут же забыть о ней, оставить ее дымиться и гаснуть в пепельнице (где она грустно склоняла набок головку); и не только он мне прочитал за один вечер всего (как показалось мне) Мандельштама, но он дал мне (с обязательным возвратом, но очень надолго, чуть ли не на год) американское, запретно-заветное издание Мандельштама (я таких книг до этого и в руках не держал): том стихов, и том прозы, и еще один том, дополнительный (и как же я шел после этого вечера, с этими книгами в сумке, по заснеженным улицам, как ехал потом в метро, обеими руками держа свою сумку – на длинной лямке, рюкзаков тогда еще не было, – прекрасно сознавая, кстати, что это жизнь моя начинается, мир для меня открывается; или это я задним числом сознаю теперь? нет, я осознал это сразу, числом самым передним). Он же передал мне свое (в ту пору, впрочем, уже стихавшее, если я правильно понял) увлечение Томасом Манном, в мои, если я не ошибаюсь, семнадцать; и не просто передал мне свое увлечение, но (в отличие от Мандельштама, которого я честно ему вернул, которого, в таком же точно издании, нарочно ходил покупать потом, спустя вечность и впервые оказавшись в Париже, в лавку YMCA-Press на rue de la Montagne Sainte Geneviève; изданий Мандельштама к тому времени уже было множество, но я хотел точно такое же, американское, середины шестидесятых; оно там, на счастье мое, нашлось) – но (в отличие от О.М.) он подарил мне, в конце концов, «Иосифа и его братьев», два бирюзовых тома, в переводе Соломона Апта (ценность тоже по тем временам невероятная, ни в какой валюте не исчисляемая, хоть и без сладкого привкуса крамолы). И не потому (я думаю) подарил, что у него был дубликат; а потому что решил, что мне эти два тома нужнее (у него оставался, впрочем, немецкий оригинал). В пору нашего знакомства это уже не была его *любимая книга* (или так он мне говорил), но была его когда-то в прошлом *любимая книга*, которую еще открываешь, но уже все реже и реже, заглядывая уже не столько в нее саму, сколько в свое же прошлое, в свою же молодость (как и я теперь, случается, заглядываю в нее; впрочем, уже совсем редко; раз в десять лет). Он читал, помню, Гете, тоже и разумеется – по-немецки; в каком-то парке (парке? или где-то на даче? где-то в лесу? среди деревьев, зимою...) рассказывал мне про «Избирательное сродство», которое и мне, по его словам, следовало бы прочитать – или, наоборот, пока не следовало читать, а следовало когда-нибудь потом прочитать, потому что это книга взрослая и для взрослых (говорил он, осторожно ступая по снежному насту, по укатанной, что ли, какими-то санками, вдруг начинающей сверкать в памяти, на зимнем солнце, снежной дороге...); взыскующих истины юношей она обычно не вдохновляет (я с тех пор повзрослел, прочитал, да так и не вдохновился). Он всегда ступал осторожно, очень медленно, даже если никакого не было снежного наста; как будто обдумывая, куда ему поставить ногу и стоит ли ее вообще куда-нибудь ставить; как будто каждый шаг его тоже был пусть маленькой, но все-таки мыслью. Там интересное происходит с именами (говорил он, это я помню): в именах всех четырех героев скрывается имя Отто – и в двух женских именах и в двух мужских именах. Они все втайне Отто: и Шарлотта, и Оттилия, и Эдуард, выбравший второе имя (у немцев часто бывает два имени, говорил Яс с видом

знатока заграничной жизни; бывает и больше), чтобы его не путали с другом юности, которого все называют капитаном, хотя и он тоже Отто. И что же? И все связаны; между четырьмя персонажами протянуты тайные нити. И все меняются местами: Шарлотта замужем за Эдуардом, но избирательное сродство влечет ее к капитану; Эдуард женат на Шарлотте, но влюбляется, конечно, в Оттилию. Это конструкция; в жизни не бывает таких конструкций. В жизни все еще сложнее и запутанней. Но и в жизни бывают тайные нити, тайные связи...

Не потому, все-таки и в первую очередь, я уже не мог без него обойтись, что он ссудил меня Мандельштамом и подарил мне Томаса Манна, научил меня видеть живопись, слышать музыку. Но потому что я сам был взыскующим истины юношей в свои шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Я ничего не понимал в жизни, в мире. Я совершенно не знал, как вести себя, чему верить. Мир обрушивался на меня тысячами голосов и тьмой мнений. Одни звали в церковь, другие предлагали водку и, *sit venia verbo*, баб как решение всех проблем, утешение в любых невзгодах, третьи совмещали водку с причастием, баб с литургией. Были завзятые пижоны, неисправимые модники, видевшие смысл жизни в посещении магазина «Березка». Были просто «фарцовщики», как это тогда называлось. Были хиппи, диссиденты, идеалисты, карьеристы, наркоманы, подонки. Одни желали обогатиться, другие достичь нирваны. Читатели Кьеркегора с наслаждением слушали Led Zeppelin и Pink Floyd. Кто-то верил в науку, рассуждал об искусственном разуме. Другим было плевать на разум, даже естественный. Третьи верили в интуицию, экзистенцию, Софию Премудрость, астральное тело. Никто не верил в марксизм. Все смеялись над Брежневым. И мы смеемся, Жижи. А мне бывало, как вспоминаю теперь, не до смеха. Все путалось, все кружилось во мне, в голове моей. Все и теперь кружится, и теперь путается; времена и мысли наползают друг на друга, как льдины на реке или на море; все сразу, кружась и путаясь, является перед внутренним моим взором. Но теперь я к этому, что ли, привык. Я как-то научился с этим справляться, ну... более или менее. Получается иногда хуже, иногда лучше... К тому же теперь какие-никакие, но есть у меня убеждения. Скорее никакие, чем какие, но все же они у меня теперь есть. Они меняются, но, по крайней мере, меняются постепенно, меняются исподволь, не каждый третий вторник, не каждый второй четверг. Наверное, молодость – самое трудное время жизни. Все колеблется, зыблется. И ум, еще в сужденьях зыбкий... Это сказано про тогдашнего меня, я теперь полагаю. Других атрибутов незабвенного Ленского – ни вечно вдохновенного взора, ни всегда возвышенной речи, ни черных до плеч кудрей – у меня не было; но зыбкий в сужденьях ум у меня точно был. Мои кудри были не кудри, а патлы, почти хулиганские, достойные лучших представителей подмосковной шпаны, пригородной урлы (я под них не подделывался, скорей их боялся, просто так само собой получалось: дух времени выражается даже в прическе); и никакая надежда меня не лелеяла, новый блеск и шум мира если и пленяли, то столь же часто и отталкивали меня, и цель жизни была для меня, конечно, загадкой, но отнюдь не всегда заманчивой, чудес не подозревал я, а уж в то, что где-то есть родная душа, только и ждущая, как бы поскорее соединиться со мною, не верил ни на йоту, ни на самую малую толику. Или я клеветчу на себя? Я не знаю теперь, каким тогда был; не вижу себя тогдашнего. Вижу себя на фотографиях, с этими пригородными патлами, с какими-то кретинскими усиками, которые я не сразу научился сбривать... Но что я на самом деле думал, как себя чувствовал, как смотрел на мир в семнадцать и в восемнадцать? Наверное, я был в гораздо большей степени Ленским, чем мне теперь кажется. Потом я быстро повзрослел, возмужал. Порвал со всей своей молодостью; сочинил другого себя. Это было потом. Пока не наступило это *потом*, никакого спасения не было от зыбкости, шаткости, от ощущения потерянности в большом непонятном мире.

И да, я ждал от него, Яса, каких-то важнейших слов. Сразу поверил, что он их знает. Что он вообще *знает*. Я не мог бы сказать, что именно знает он. Но он *знает*, и потому так важно все, что он говорит, все, что он делает. Я, собственно, жизни надеялся у него научиться... Научился? Ну, чему-то, наверное, научился. Точно не автомобильной езде, объявила Жижи,

возмущенно вздрагивая от моих обгонных маневров. А он на машине и не умел ездить, он ездил всюду и всегда на такси, мог позволить себе ездить всюду и всегда на такси, даже за город. Я в ту пору не спрашивал себя, откуда у него столько денег. Но денег было много, как-то даже бесстыдно много. Он их явно не копил, не ценил, тратил с шиком. И да, я с ним впервые оказался в «Арагви», в «Национале», в «Пекине». Его там знали, принимали по первому разряду, с околоточным подхалимством, сажали за лучший столик, получали несусветные чаевые. Он был такой большой, вальяжный; такой, во всем, барин. Он не был уж таким большим; был, как некогда выражались, хорошего среднего роста; но он словно рос и ширился, обсуждая меню с опереточным официантом (судак-орли, Яков Семеныч, сегодня отменнейший; или это я придумываю теперь?). Смешно только, что я сидел с ним за столиком в «Метрополе», за поеданием судака-орли с соусом, понятное дело, тартар, и нельзя сказать, чтобы я брезговал этим судаком-орли, этим соусом тартар, вовсе нет, я наслаждался и тем, и другим, и вообще всем вокруг, и угодливостью официанта, и понимающими улыбками знакомых Ясу, за соседним столиком, дам, их высокими, по тогдашней моде, прическами (*эшафодажем*, как Яс иногда выражался), и светом на скатерти, и цинандали, и даже боржомом, а в то же время я смотрел ему в глаза, ловил каждое слово, ждал, что он сейчас откроет мне истину, смысл жизни, вот прямо сейчас. Так-таки истину? так-таки жизни? Да, ни больше ни меньше.

И он это понимал, этим-то, наверно, и наслаждался. Он рассказывал по-прежнему о ван Эйке, и это было всегда интересно, всегда очень умно; или он говорил о Набокове; или о Максе Фрише, которого любил едва ли не больше всех из тогда еще современных писателей; или рассуждал о достоинствах цинандали, мукузани, киндзмараули; или о том, как надо пить коньяк (из пузатых рюмок, согревая его в руках, понюхивая, потом отпивая крошечными глоточками); и это тоже было интересно и тоже умно; и вообще все, что он говорил, о чем бы ни говорил, было умно и, следовательно, интересно (и потому было так интересно и так умно, что, казалось мне, он к любому *предмету* мысли прикладывал такое ее *количество*, какого этот предмет не всегда и заслуживал: количество, ни в каких единицах, наверно, не измеримое, но зримо копившееся, как будто клубившееся, в его большой, понемногу лысеющей голове; потому, иными и простыми словами, что он давал себе время подумать, не убегал от усилия мысли, как убегаем, увы, мы все); он не мог не видеть, однако, что я совсем другого от него жду, что я всему верю, что он говорит, что я в его руках, что он может все, что хочет, делать со мною. Это недолго продолжалось; рано или поздно я ведь должен был понять, что и он не знает истины, что и ему смысл жизни неведом. Да и какой вообще смысл? Но ведь какой-то должен быть, Яков Семеныч; ведь не может не быть никакого? Ведь это все не может быть *просто так*? Или мы *просто так* здесь сидим, *просто так* говорим о ван Эйке? Тогда зачем говорить о нем? Можем не говорить, отвечал он; можем говорить о Рогире, о Рембрандте... Тут, случилось, улыбка почти мефистофельская пробежала по его мерцающим внутрь глазам. Спору нет, мы все жаждем Смысла (в единственном числе, с большой буквы), или хоть смыслов (во множественном и с маленькой), и если не смыслов, то смысликов; только где же их взять-то? Смысликов, смыслишек, смыслюнчиков... Хохочешь? Ну, хохочи... Я хохотал на весь «Метрополь», на полный «Националь», но я вправду жаждал Смысла (или хоть смыслов); никакими смыслюнчиками не готов был удовлетвориться. Иногда он отвечал мне все же всерьез. Смысл есть, но он открыт только Богу. Бог и есть Смысл. Но Бог бесконечен, безначален, непостижим, Бог есть совпадение противоположностей, абсолютный максимум, как выражался Николай Кузанский, бездонная бездна, безосновная основа всего, как говорил Яков Бёме, сходжение прямых линий, число всех чисел, бессловное слово. И все наши слова в лучшем случае на него намекают. Между нашими словами и божественным Словом различие столь же бесконечное, сколь бесконечен сам Бог. Если Бог есть бесконечность, то какая конечная мысль, какое смертное существо способно его постичь? И все, что я говорю, это только земные, робкие слова, беспомощные намеки... Ну а мы-то что должны делать? Тут вновь, случилось, мефи-

стофельская улыбка пробежала по глазам его и губам. Мы-то? Пить цинандали... А у тебя, что же, есть теперь лучший ответ? Помилуй, Жижи, у меня вообще нет никаких ответов. Только я не стал бы говорить о божественном... А он верил в то, что говорил? Я не знаю. Иногда мне казалось, что да, иногда казалось, что нет, что он просто играет с разными мыслями, просто пробует их на зубок. Только эта игра была всерьез, игра настоящая, та игра, которая не-игра; вот в этом убежден я по-прежнему.

Впрочем, дело не в мыслях (любил говорить он). Ты думаешь, что если набредешь на верную мысль, то будешь знать, как жить, – и все у тебя начнет получаться? Вот еще! С какой стати? Человек не живет своими мыслями. Человек живет своим безмыслием. Человек живет; живет и живет; а когда начинает мыслить, тогда и начинаются все его сложности. Мысль разрушает жизнь. Тот, кто живет, не мыслит; тот, кто мыслит, уже не живет... И это тоже (теперь я думаю) была такая игра (которая не-игра); такая маска, которую иногда он примерял; такой образ, который создавал он в своих и моих глазах. А любая мысль есть маска (как он сам же мне много раз говорил); в том числе и мысль о вреде мысли для жизни. Мы надеваем маски и снова снимаем их. Наше лицо под масками, наша суть и подлинность по ту сторону всех наших мыслей: вот единственное, что важно... Все же я от мыслей отстать не мог; в пятнадцать лет прочитал Шопенгауэра (первый том в русском переводе; второго не сумел раздобыть); и – все; пути назад уже не было. Самая глупая из приходивших мне в голову мыслей была, пожалуй, мысль о том, что а) можно научиться мыслить вообще, и б) что научиться мыслить можно на философском факультете Московского университета им. Ломоносова. Хорошо, Жижи, согласимся, что первая половинка этой мысли была не такой уж глупой, но вторая точно была полным вздором. Яс меня отговаривал. Неужели ты хочешь быть ввергнутым в зловонные бездны диамата, в ядовитые испарения истмата? Но я был упрям и наивен. Я твердил, что диамат с истматом будут везде, куда бы я ни *поступил*, а прослушать курс античной философии, средневековой философии, главное же – курс логики я все-таки должен. Тогда простому московскому школьнику, пусть даже отличнику и победителю всяких-разных математических (в других я не участвовал; математика была моим вторым – но все же только вторым, как мне тогда казалось, – увлечением) олимпиад, *поступить* на философский факультет университета можно было только *по благу*. В то прекрасное время все было по благу; когда время блага закончилось, настало время блатных... Другое дело, если ты *по комсомольской путевке* (что бы это ни значило, а неохота даже и выяснять теперь, что бы это могло значить) прибыл в Первопрестольную из Комсомольска-на-Амуре, из Пионерска-на-Иртыше, *по рекомендации райкома* – из Райска или из Адска, *по направлению обкома* – из Обломовки-на-Обрыве. Таких *рекомендованных* немногие вменяемые студенты обходили потом за столько верст, за сколько могли обойти; Впрочем, отдельно, очень отдельно, взятые *командированные* ко второму курсу преображались, принимались читать Кьеркегора. Но я не прибыл в Первопрестольную ни из Адска, ни из Гееннска, и никакого блата у меня (то есть у моих родителей) не было; мой выбор они тоже не одобряли – как и все мои последующие *фокусы*, грядущие *закидоны*; мечтали, чтобы я стал врачом; вообще (и всегда) мечтали, чтобы я стал каким-то другим, если не похожим на них, то хотя бы понятным для них человеком (без *закидонов* и *фокусов*). Блат был у Яса (у Яса, иногда мне казалось, блат был везде; а где не было, там он его создавал). Яс позвонил кому-то, потом еще кому-то (я до сих пор не знаю кому) – и вопрос был решен. Ты помнишь, Жижи, прелестное слово *позвонок*? Нет, ты не помнишь, ты слишком еще молодая. *Позвонок* – это тот, кто поступает в университет или в какое-нибудь другое *высшее учебное заведение* (прости господи) – *по звонку*. Когда вопрос был решен, *позвонок поступил*, мои родители пожелали с Ясом, наконец, познакомиться. Это было ужасно. Они пригласили его в гости, и он пришел. Было долгое скучнейшее застолье – с полным набором ненавистных мне с детства советских салатиков (майонез, горошек, рубленое яичко), с отвратительно жирным грибным супом (навсегда мне запомнившимся, как запоминается постыдный поступок), с запеченным (как тогда было

принято) под луково-майонезной шапкой, все равно, как бы долго его ни запекали, резиновым мясом, – которым (то есть застольем) они, видимо, хотели его отблагодарить (больше отблагодарить было нечем). Они сами были вполне советские люди, особенно мой отец; конечно, они не понимали, что связывает этого странного взрослого дядю *с их мальчиком*; моя мама смотрела на него с плохо скрываемой опаской. Он же смотрел на них, со всеми их разговорами о политике и попытками поговорить об искусстве, как на смешных и трогательных детей (стараясь только, чтобы они не заметили, что он так на них смотрит). Они и не заметили; зато я заметил; мы с ним изредка исподтишка переглядывались. Мы были здесь двое взрослых, двое знающих в мире наивных невежд, двое думающих в мире сплошного бездумия. Ты смеешься, Жижи? Правильно делаешь. Я сам смеюсь. Или плачу, вопреки заветам Спинозы.

После моего зачисления в университет Яс, вообще обожавший делать подарки, со словами: ну, раз ты у нас теперь философ... и улыбкой в высшей степени мефистофельской, подарил мне отличную, каких в Совдепии не бывало, репродукцию Рембрандтова «Философа» – или «Философа в раздумье», или даже «Философа в медитации» (названия разнятся) – одной из самых странных его картин (они все странные, но эта страннее всех), с ее витой лестницей, уходящей в ту невероятную черноту, которой, кажется, никто, кроме Рембрандта, не владел и не ведал, с исподом этой лестницы, похожим на завиток какой-то гигантской мифической раковины. Я картину эту знаю теперь наизусть: она и в Москве висела, и в Мюнхене висит, и где только не висела у меня над столом, все в той же, теперь немного облезлой, случайной рамке, в которой Яс подарил ее мне. Сразу подумал я, что этот старый, седой и бородатый философ, похожий на библейского патриарха или пророка, одиноко сидящий под лестницей у высокого окна, тоже окруженного чернотой, – что это он сам, Яс, один из его *образов* и тайных портретов; он в старости или он в глубине души; еще я подумал, и если не сразу подумал, то много раз думал с тех пор, что все это – это окно, этот очаг, разжигаемый служанкой, этот огонь в очаге, главное, еще раз, эта витая лестница, занимающая почти полкартины, – что это и есть какая-то *глубина души*, внутренняя конструкция ума и сознания; что чем выше мы поднимаемся по лестнице наших мыслей, тем темней, черней, сложнее и запутанней становится все и в нас, и вокруг; и что он, Яков Семенович, именно это, может быть, и хотел сказать мне своим подарком. С другой (и в буквальном смысле, и в смысле метафорическом, метафизическом) стороны, свет все же падает на мыслителя из высокого сводчатого окна и в печи вздымается не очень даже и маленькое, ярко-желтое пламя.

Не помню уж, до или после *поступления позвонка*, попал я на застолье у самого Яса; одно из тех бесконечных, беспросветных застолий, с полной (опять-таки) выдачей заграничных напитков и русских закусок, или русских напитков и грузинских закусок, или грузинских напитков и якобы заграничных закусок, или уж как угодно, какие в то время порядочным людям периодически полагалось устраивать по любому поводу, безо всякого повода. Это был, скорее всего, Ясов день рождения, вот что это было такое (теперь мне думается); день рождения, на который Яс бы, наверное, меня не позвал, если бы он не был таким многолюдным, с такой выдачей напитков, закусок, красной икры, черной икры, шотландского виски, французского коньяка, цинандали (опять-таки), киндзмараули (еще раз), мукузани (вновь скажем), сациви, чахохбили и хачапури (и дальше, и дальше по заветному списку гурмана). Пора и нам подкрепиться, или уж дотянем до Бернкастеля? И я там был не единственный *никому неведомый молодой человек*; там, к моему изумлению и огорчению, еще оказалась парочка *молодых людей*, явно считавших себя его, Яса, учениками. Кто-то из них и вправду был его учеником, надо думать. Был какой-то его аспирант, какая-то его аспирантка. Были молодые, и немолодые, и даже совсем немолодые сотрудники института искусствознания, где он работал, или скорее бездельничал (как он сам же имел обыкновение выражаться; я, впрочем, скорее ему не верил); были сотрудники, сотрудницы Тамары Сергеевны; были ее родители, очень вальяжные, очень сановные (если не академик и жена академика, то уж точно член-корреспондент и жена члена-

корреспондента). Жена была никакая, а сам член роскошный, строго-седовласый, с начальственным басом и министерскими шутками, над которыми первым же и смеялся. На зятя оба посматривали с печальным и словно привычным недоумением, так, значит, и не сумев за долгие годы привыкнуть к нему самому, привыкнув лишь к своему же недоумению, как это, мол, их чудесная, обожаемая, шальная дочка ухитрилась выйти замуж за Еврея Евреевича, Якова Соломоновича («Семенович» был, конечно, благочестивой легендой, не-спасительной маской эпохи победившего антисемитизма); оба, впрочем, вскорости удалились. Шальная дочка, державная дама, счастливая обладательница всемирно-имперского бюста, посадила меня рядом с собою, время от времени меня даже потчевала то икрой, то сациви, милостиво склоняясь ко мне своей высокой рыжеватой завивкой, улыбаясь своими слишком зелеными для такого государственного великолепия глазами, так что я даже, пожалуй, рад был, когда собственно застолье закончилось, все разбрелись по комнатам и ко мне вернулся дар речи, способность смотреть еще куда-нибудь помимо ее декольте.

Посреди карельской березы и красного дерева обнаружился рояль, вполне, наверно, бехштейновский; за роялем обнаружился молодой человек (которого мне сразу захотелось назвать *юношей*... или это Тамара Сергеевна, иронически щуря свои слишком зеленые глаза, назвала его *юношей*? или она произнесла даже *выюношь*, выпячивая полные губы?... может быть; все может быть), не с патлами, как у меня, а с черными, вот в самом деле, кудрями, если не до плеч, то почти, которыми патетически потрясал он, наявивая Шопена. Его звали Аркаша. Да, именно так, его звали Аркаша, я его потом еще пару раз видел, всякий раз в Ясовом обществе. Рядом с роялем стоял другой молодой человек (которого вовсе не хотелось назвать *юношей*), без кудрей и даже без патл (можно так сказать? ну, допустим, что можно), зато в очках и с клокастой бородкой, каковой молодой человек (которого хотелось, скорее, обозвать одним из тех мерзких слов, какими обзывали молодых людей в мерзком мире, со всех сторон окружавшем этот дом, эту комнату, нашу юность: *парнем, пацаном, чуваком*) – каковой, следовательно, молодой человек (*чувак* и *пацан*; его я тоже потом встречал пару раз, тоже в Ясовом обществе, но как его звали, решительно не могу теперь вспомнить; кажется, Колей) стоял, собственно, возле этого в высшей степени бехштейновского рояля, чтобы переворачивать страницы Аркашиных нот, когда тот кивал ему, патетически встряхивая романтическими кудрями, но со своими обязанностями отнюдь не справлялся, на Аркашины кивки внимания не обращал, а если обращал, то не сразу, так что Аркаша пару раз сбивался с такта и кивал ему уже яростно, клокасто-очкастый же (кажется, Коля) невозмутимо продолжал барабанить пальцами по крышке рояля, очевидно, воображая, что это не Аркаша, но он сам сейчас потчует присутствующих очередной мазуркой, новым этюдом, или воображая, как бы он сам потчевал присутствующих очередным этюдом, новой мазуркой, если бы он был не безымянным очкасто-клокастым чуваком-пацаном (кажется, Колей, но, может быть, никаким и не Колей), а вдохновенным музыкантом, студентом консерватории, учеником Гилельса, гением, Шопеном, Бетховеном. Это было очень смешно. Вообще все было довольно смешно. Смешно уже, что человека могут звать в наше время Аркашей. Как могут человека звать в наше время Аркашей? Ну вот, значит, могут. Хорошо он играл или нет, я не знаю. По крайней мере, он, когда не сбивался с такта, играл вдохновенно, не только кудрями тряс, но и глаза закатывал, и как-то особенно, высоко и резко, с добавочным вывертом кисти, выбрасывал вверх левую руку, заканчивая этюд, завершая экспромт.

В конце концов, пришлось Шопену уговориться: другие ведь тоже хотели поговорить, поиграть, пошуметь, показать себя, настоять на своем. Был еще какой-то очень толстый господин в жилетке, как потом выяснилось – тоже доктор всевозможных наук, зримо потевший, пыхтевший, рассказывавший с течением времени все менее приличные анекдоты, отпускавший все менее пристойные шуточки, после которых Тамара Сергеевна грозила ему пальцем, вздрагивала всем бюстом, а какая-то подруга ее (Нина? Вера?), сухая блондинка (из породы

завязтых лыжниц, страстных пловчих), притворно пугалась, стыдливо рдела, закатывала смеющиеся глаза, давая, похоже, понять, что еще одна такая шуточка и она бухнется в обморок; этот же господин в жилетке всем охотно демонстрировал поразительное умение так загибать свои толстенные пальцы, что они почти касались, или в самом деле касались, тыльной смуглой, восточно-волосатой стороны его мясистой ладони. Яс, по-моему, смотрел на все это как на театр теней, театр зверей. Опять подумал я, что он мог бы просто взять и выйти, что все это не имеет к нему отношения. А в то же время все вращалось (и все вращались) вокруг него (не только потому, что он был именинником); все искали его внимания, его одобрения (не одни лишь взыскующие истины व्यуоноши, кудрявые гении, клокастые чуваки). Потом он вдруг опьянел. Он посмотрел на меня своими всегдашними, черно-агатовыми, одновременно ясными и глубокими, веселыми и печальными, мерцающими внутрь и отрешенными от мира глазами, сказал мне что-то (забытое), отвернулся, а когда посмотрел снова (через минуту), я понял, что он совершенно пьян (в зюю, в дупель).

За полночь, когда гости разошлись, ученики (или уж я не знаю, как назвать их) остались, когда был выпит крепкий чай с домашними пирогами и омерзительно сладким тортом, купленным, наверное, в «Праге» (или где полагалось в ту пору покупать торт для порядочного праздничного застолья), и пьяное веселье сменилось пьяной печалью, когда наступила та призрачная ясность в мыслях, которая обычно наступает в конце вечеринки, – за полночь и после крепкого чая с тортом из «Праги» Яс (я помню) начал спрашивать оставшихся учеников (или как бы ни называть их), что, собственно, они думают – о нем, Ясе. Скажите мне честно, что, собственно, вы думаете – обо мне. Самое странное, что все попытались ответить. Разумеется, это была вариация на вечно-русскую тему «Вася, ты меня уважаешь?», но ребята были молодые, глупые, на Яса смотрели во все глаза, ко всему, что он говорил, относились с трогательной серьезностью – и очень (ну, очень!) хотели показать ему, заодно и всем прочим, заодно и себе самим, свой глубокий ум, свою проницательность, смелость своих суждений. Я был хуже всех, говорил дольше всех. У меня была в то время целая (если угодно) теория (вдохновенная чтением «Иосифа и его братьев»), с которой я прямо-таки носился (по Москве и окрестностям), пытаюсь (без большого успеха) приложить ее к разным людям. Смейся надо мною, Жижи. Мне ведь было всего семнадцать, восемнадцати еще не было. Это называлось у меня: о *первом*, *втором* и *третьем*. Все люди, по этой теории (которую, следовательно, и пустился я излагать в ту бесконечно давнюю ночь, посреди заметенной снегом Москвы, молчавшей за окнами, за открытой наконец форточкой, куда улетал табачный дым – ядовитый дым «Столичных», пахучий, заграничный дым «Мальборо», еще более пахучий, прекрасный, райский, эдемский дым Ясовой трубки, – собравшийся за вечер в музейно обставленных комнатах) – все люди делятся на *первого*, *второго* и *третьего*. *Первый* – это патриарх, основатель рода или династии, Авраам, пускающийся в свое странствие; тот, с кого все начинается, с кого начинается легенда, начинается миф, тот, кто только-только вышел из анонимной, архаической темноты, из первобытной безличности, еще хранит с нею связь; человек еще природный, но уже живущий в истории, уже обретающий лицо и личность, уже что-то *значащий*, иногда очень много значащий в мире. Нет, Жижи, не этими же словами. Вряд ли я мог говорить вот этими же словами. Но какими-то похожими я говорить уже мог, и что я говорил это, помню совершенно отчетливо. Черты *первого*, говорил я, есть, например, в Льве Толстом. И есть, с другой стороны, на другом конце, *третий*, завершитель, любимец богов и Бога, благословенный благословением неба и благословением бездны, лежащей долу, Иосиф Прекрасный, гений, Пушкин, Моцарт, тот, кому все дано, все дается, все удается, кому все завидуют, кем все восхищаются. А между ними, говорил я, *второй*, Иаков, уже не начинатель, но еще и не завершитель, самый сложный, самый противоречивый, самый мучительный, но в известном смысле и самый важный персонаж из всех трех. Ему трудно приходится. Он редко бывает в ладу с собой. В нем нет той простоты, решительности, непосредственности, уверенности в себе, какая свойственна *первому*. И нет легко-

сти, свободы, благодатной естественности и, по-своему, тоже простоты *третьего*. Он должен все добывать с бою, все оплачивать старанием, страданием, сомнением. Он всегда на распутье. И он всегда в пути, всегда странник, у него меньше всего шансов *дойти*...

Я видел, что Яс был тронут. В чистом виде, сказал я, не бывает, разумеется, ни *первого*, ни *второго*, ни *третьего*. Но в каждом кто-то преобладает. Я и до сих пор так думаю (говорил я Жижи, когда мы с ней мчались по шестидесятой автострате вдоль Рейна). Мой собственный отец был типичный *первый*; потому я немало от него натерпелся. Вы, по-моему (говорил я Ясу в ту бесконечно давнюю ночь, посреди молчавшей за окнами, заметенной снегом Москвы) – вы, по-моему, самый настоящий *второй*, на что (говорил я, шалея от собственной дерзости, извиняя ее действием выпитого мной виски) – на что, Яков Семенович, намекает уже ваше имя. Тут он поднялся со своего львиноголового кресла, пошатываясь подошел ко мне и со словами (мне навсегда запомнившимися) «не подумай, что это спьяну» (хотя это и было спьяну, с чего же еще?), обнял и поцеловал меня очень крепко, прямо в губы, даже поднял руку, чтобы, видимо, провести ею по моим волосам, погладить по голове; потом все-таки опустил. Этот незавершенный жест еще долго меня преследовал. – Насчет Толстого ты не прав (объявила, к несказанному изумлению моему, Тамара Сергеевна, вообще-то занятая составлением пустых чашек и полных пепельниц на расписной огромный поднос). Толстой (объявила она) был, по твоей теории, *первым*, но пытался стать *вторым*. И в сущности даже стал. А вот Достоевский... Но что она сказала о Достоевском (унося поднос), я уже не могу теперь вспомнить. Я только помню, что тут все пустились примерять мою теорию к себе и соседу (главное, конечно, к себе). Аркаша твердо потребовал, и грозный взгляд его, заранее возмущенный возможными возражениями, потребовал еще тверже, чтобы его, Аркашу, немедленно признали *третьим*, самым *третьим* из *третьих*, самым Моцартом из всех Пушкиных, благословенным гением, любимцем муз и богов. Очкасто-клокастый провозгласил себя *тоже вторым*, но с элементами (он, по-моему, так и сказал: с элементами) *третьего*. Где уж он нашел в себе эти *элементы*, одним музам ведомо. Как же, как же, объявил Яс (с горестно-мефистофельской усмешкой). Люди, в большинстве своем, не *первые*, не *вторые* и уж точно не *третьи*. – А какие же? – А вообще никакие, вообще *нулевые*.

А мы лучше спросим себя, что нам эта Бельгия, в которую мы едем (зачем-то). Мы же едем в Бельгию – или уже не едем? Мы можем еще вернуться – или доехать до Бернкастеля, посмотреть на тот дом, где родился Николай Кузанский, на дом престарелых, им основанный, существующий до сих пор, – и поехать обратно. К вечеру были бы в Мюнхене. И это было бы самое умное (говорил я Жижи), потому что мир, похоже, закроют, потому что эпидемия ширится, потому что все вообще очень страшно. Мы не поехали обратно; мы свернули с автостраты на федеральную дорогу, идущую через Хунсрюк, местные, не очень высокие, но прекрасные горы, отделяющие долину Мозеля (куда нам и нужно было) от долины реки с замечательным названием Нае («Близь»; «Близь течет вдаль», говорит немецкая поговорка: In die Ferne fließt die Nahe; на самом деле она течет в Рейн, от которого мы отдалялись). Дорога идет поверху; собственно, как сообщила мне дотошная Жижи, в свою очередь справлявшаяся с айфоном, покуда я рулил (в то же время стараясь не упустить, наоборот: впустить в себя подробности пейзажа, перелески и облака) – это, собственно, военная дорога, с необыкновенной скоростью, всего за два года (1938–1939) проложенная нацистами (по следам древней римской, так называемой Авзониевой дороги), чтобы в следующем, 1940 году двинуть танки на Францию. Это не мешает ей быть одной из прекраснейших дорог на Земле. Близь течет вдаль; близь перетекает в даль; за каждой близью открывается новая даль. Даль всегда синяя. За синей далью – голубой горный кряж, за ним еще кряж, уже облачный. Какой мир большой, какое пространство огромное. Ветряные электрические мельницы с величавой неторопливостью крутили свои лопасти то на одном склоне, то на другом; был бы я Рогиром, нарисовал бы их тоже. Не говори глупостей. А что? Ведь это тот же ландшафт, что на великих старых кар-

тинах; мы узнаем его, разве нет? Всегда любил я эти задние дальние планы у ранних фламандцев, то таинственное, что мы видим в каком-нибудь отворенном окне, как на портрете «Мужчины, читающего письмо», который висит в Лондоне и считается работой не самого Рогира, но кого-то из учеников Рогира, усвоивших его приемы, но не совсем, может быть, овладевших его мастерством; или то, что видим мы за колоннами и балконом, в самом центре картины, но при этом в глубочайшей ее глубине, на знаменитой ван Эйковой «Мадонне канцлера Ролена», перед которой Яс, по его же словам, простоял полдня в Лувре, когда впервые, в еще густо, глухо советское время, к собственному изумлению, оказался в Париже (до этого он был *невъездной*; только Тамара Сергеевна, благодаря, наверное, своим сановным родителям, чисто арийскому происхождению и великодержавному бюсту, была *выездная*), о каковой своей поездке (которая для меня самого в начале восьмидесятых была как поездка на Луну или Марс) он рассказывал мне в пленительных подробностях, с восхитительной обстоятельностью, в какой-то, тоже теперь всплывающий в памяти, без *вчера* и без *завтра* день, тусклый и зимний, когда мы шли с ним (но почему? и куда? и зачем?) мимо еще в ту пору курившегося посреди Москвы, исходившего клокастым паром, в окружении заснеженных веток, бассейна «Москва» (напоминавшего, что ли, круг ада, один из кругов его, откуда в купальных шапочках выглядывали лишь отдельно взятые головы грешников), и затем вдоль реки, и по дотоле мне неведомым задворкам Замоскворечья, и сколько раз я бы ни ездил потом в Париж, я, в сущности, только тем и занимаюсь всю жизнь, что сличаю свои впечатления с его тогдашним рассказом, с возникавшим перед моим внутренним взором, покуда плутали мы в задворках Замоскворечья (по пути неизвестно куда, неизвестно зачем), образом туристического Монмартра, и проколотого чертовой черной башнею Монпарнаса, и неизменной, аркадно-квадратной площади Вогезов, и порочного, конечно, Пигаля, где тогда еще были натканы по углам проститутки, и еще не подозревавшего ни о каких стеклянных пирамидах, стекляннейших пирамидочках Лувра, где он, Яс, по его же словам, убил полдня на созерцание «Мадонны канцлера Ролена» и другие полдня на созерцание не могу теперь вспомнить чего; всегда и больше всего на свете (еще раз) любил я (и продолжаю любить) эти дивные дальние планы у ранних фламандцев, с их не всегда еще выверенной, скорее интуитивной, но уже несомненной перспективой: все то таинственное, что мы видим сквозь раскрытые окна или за балконом с колоннами, прямо в центре картины, но в глубочайшей ее глубине, как у (еще и еще раз) ван Эйка, или как на цитирующей его (ван Эйка) картине Рогира «Святой Лука рисует Мадонну» (*ответ младшего мастера старшему*, по Ясовой формуле, из его уже почти мифических для меня подготовительных лекций), оригинал которой находится в Бостоне, а сделанные учениками *младшего мастера* копии – в Эрмитаже, в Не-помню-где и в мюнхенской Старой Пинакотеке, из чего, разумеется, следует, что я хожу смотреть на нее вновь и вновь, и что, когда Яс в 1995 году приезжал ко мне в Мюнхен, мы хоть и не полдня провели перед этой относительно ранней работой Рогира (написанной им, как рассказал мне Яс, скорее всего где-то в конце тридцатых или самом начале сороковых годов – пятнадцатого, разумеется, века, важнейшего века истории – после хотя лишь предполагаемой, но с большой долей уверенности предполагаемой современными учеными встречи наших двух любимых художников в Брюгге, где ван Эйк, по-видимому, как раз работал над этой самой «Роленовской Мадонной» по заказу этого самого Николя Ролена, всесильного канцлера Бургундского герцогства, впоследствии, когда картина была закончена, забравшего ее себе, так что Рогир, приехавший на свидание с великим Яном из Брюсселя, где он сам в то время уже занимал высокий пост «городского художника», не мог бы ее увидеть после того, как всесильный канцлер забрал ее в свою домашнюю церковь в Отёне, а значит, и не мог бы ее процитировать в своем «Луке»; Яс по-прежнему говорил обо всех о них так, как будто позавчера с ними простился, послезавтра снова должен был встретиться) – не полдня, но все же почти полдня простояли мы с ним перед этим «Лукою», то уходя от него, порознь или вместе, то снова к нему возвращаясь, встречаясь вновь перед ним, как когда-то, в незапамятные времена,

на дальнем плане жизни, в музее им. Пушкина перед мужским портретом, который, несмотря на все твои возражения, Жижи, я решительно продолжаю считать портретом неизвестного из мадридского собрания Тиссена-Борнемисы (и на котором дальнего плана не было вообще, как его очень часто не бывает на ван Эйковых и Рогировых портретах, именно портретах и только портретах); и хотя в своем качестве счастливого обитателя баварской столицы я сколько душе моей угодно могу заходить в Пинакотеку смотреть на эту работу (что я и делаю), я каждый раз чувствую новое волнение, новое восхищение, и прежде всего, наверное, потому, что *узнаю* его на этой картине, точно так же, как *узнаю* (узнавал) ландшафт, по которому (сквозь который) мы ехали с Жижи в Бельгию (хотя лучше было бы повернуть нам обратно).

Его – кого? Его – Рогира? Считается, что в этом евангелисте Луке, рисующем Богоматерь, он изобразил себя самого; оно и понятно: когда художник рисует художника (пусть даже тот, кого он рисует, по совместительству еще и апостол), он не может, наверное, не рисовать свой тайный, явный (совсем явный, очень тайный) автопортрет. Святой Лука здесь тоже не смотрит на нас, как не смотрят на нас ни Франческо д'Эсте из музея Метрополитен, ни Карл Смелый из Берлинской картинной галереи, ни, например, ван Эйкова чета Арнольфини, если это действительно чета Арнольфини, из лондонской Национальной галереи (самые, как любил говорить Яс, загадочные персонажи мирового искусства); но там, на тех портретах, мы не знаем, куда они смотрят; они там смотрят в неведомое «куда-то», которого мы не видим, но куда мы тоже начинаем смотреть вместе с ними; святой же Лука смотрит, конечно, на Богоматерь (с очень смешным кукольнообразным Младенцем, которого она кормит высокой белой маленькой грудью: впоследствии, кажется, никто уже так рисовать ее не решался); и смотрит на нее как художник: с той отстраненной нежностью, с тем удивленным, почти растроганным вниманием, без которого, я полагаю, искусства быть и не может. Он смотрит на нее и в то же время смотрит в себя (как и она в себя смотрит); если считать, что Рогир создал все это вокруг 1440 года, то ему самому тогда было около сорока; он и апостола изобразил примерно сорокалетним, уже с кругами усталости под глазами, с уже заметными морщинами вокруг губ и на лбу, уже наметившимися складками шеи; довольно сильно постаревший к 1995 году Яс смотрел на все это – и на эту погруженную в себя Богоматерь, и на этого апостола Луку (он же, так хочется верить в это, сам Рогир) с листком бумаги и серебряным карандашом в тонких, удивительно длинных пальцах, на эти складки ее темного одеяния, так положенные художником на шашечном, с вписанными в некоторые (не все) квадраты ромбиками, полу, что в одном (и только одном) месте они (эти складки) оказываются на одной линии с едва различимой под его (св. Луки) одеянием скамеечкой, что как будто перебрасывает мост между ними, создает связь между ними, Мадонною и апостолом (связь, которой нет и не может быть на «Роленовской мадонне» ван Эйка, потому что там не художник – там человек власти, с лицом жестким, беспощадно-корыстным, – смотрит на Богородицу), каковой (метафорический) мост делает излишним мост через реку за заднем плане (у ван Эйка он есть, у Рогира как раз нет; потому что – зачем? мост уже переброшен; зато у ван Эйка на заднем плане весь мир, вся вселенная: и города, и замки, и церкви, и холмы, и поля, и корабль на реке, и, действительно, мост, и не простой мост, но с отдельной башенкой, и ее отражением, и крошечной лодочкой между двумя опорами, и на самом дальнем, самом заднем плане – горы, уже фантастические, скалисто-снежные, по ту сторону мира, за пределами земной жизни; у Рогира же все это скромнее, соразмернее человеку: пара башенок и кусок зубчатой стены; и в дальней глубине горы, но такие же, невысокие, плоские, голубые, как вот эти, по пути в Бельгию, то есть такие же, какие он сам мог много раз видеть, путешествуя из Брюсселя в Дижон и обратно; а все же есть какая-то тайная тревога в этом пейзаже; и во всей картине – печаль, вовсе не тайная, хотя и неуловимая, необъяснимая...) – Яс (еще раз), в 1995 году, в мюнхенской Пинакотеке, смотрел на все это (казалось мне) так же, тем же, сразу вовне и внутрь повернутым взглядом (я *узнавал* его), каким апостол Лука смотрел на свою Мадонну, – и затем отходил, рассматривал другие картины (надолго задержался

перед Дюрером, на еще дольше перед Альтдорферовой «Битвою Александра»), и, возвращаясь к Рогиру, или, может быть, после, когда мы пили что-то (он, наверное, чай – он всегда пил чай, – а я кофе) в пинакотечном вытянутом кафе, возвратился (не мог не возвратиться) к своей давней, излюбленной, хотя и спорной (как он сам же и признавался), мысли (высказанной еще Эрвином Панофским, самим Эрвином Панофским, не кем-нибудь) о той связи, которую невозможно (нет, вопреки всем возражениям, никак не возможно) не заметить между появлением перспективы в европейской живописи, с одной, и, с другой стороны, представлением о бесконечности пространства и времени, как оно в той же первой половине пятнадцатого века было сформулировано Николаем, к примеру, Кузанским (годы жизни которого не зря же совпадают с годами жизни любимого нашего Рогира), в резкой противоположности со средневековым представлением о бесконечности Бога и конечности мира, отчего мы и видим, как правило, на средневековых картинах (скорее иконах) сплошной, закрытый, часто золотой фон, на каковом фоне (тоже символизирующем бесконечность, но бесконечность божественную) являются нам святые и ангелы, на картинах же эпохи так называемого Возрождения (сперва флорентийских, вскорости и фламандских) появляются эти невероятные, создаваемые как раз открытой тогда перспективой дальние планы, уводящие взгляд в бесконечность одновременно божественную и земную, туда, где параллельные линии сходятся; и на следующий, кажется, день (параллельные еще не сошлись) после этого посещения Пинакотекы мы поехали с ним в Голландию, и когда вернулись в Мюнхен, снова (если ничего я не путаю) провели сколько-то утомительно-счастливых часов в созерцании Рогира (и, что после Амстердама само собою напрашивалось, в созерцании Рембрандта); и затем я отвез его в Альпы, в Австрию, в высокогорно-великосветский Ишгл, откуда вскоре после нашей с Жижи бельгийской поездки начала по всей Германии распространяться зараза (или уже начала распространяться зараза, но мы этого еще не знали, когда 8 марта 2020 года подъезжали к Бернкастелю) и где, с одной из своих уже очень повзрослевших дочек, тогда (в 1995-м) убивала время (не знаю уж, катаясь или не катаясь на лыжах) не очень, но все-таки постаревшая Тамара Сергеевна; и на другой день я отвез их всех вместе на мюнхенский аэродром; и, глядя (за ужином в беспардонно дорогом альпийском ресторане, притворявшемся сельской харчевней; потом наутро за завтраком; потом в машине по дороге в Мюнхен) на (не очень, но все-таки) постаревшую, еще очень красивую Тамару Сергеевну, я (в том 1995 году) думал, признаюсь тебе, Жижи, примерно то же, что, случается, думаю и теперь (в 2020-м): что я совершил огромную ошибку и упустил величайший шанс своей жизни, не попытавшись тогда, когда-то, «на заре туманной юности», в 1980-м или 1981-м, завести с ней роман.

А что (прошу тебя, не сердись): что может быть лучше для семнадцатилетнего оболтуса (в патлах и с усами), чем получить посвящение в *ars amandi* от такой великодержавной дамы, с такими зелеными глазами, такими имперскими формами? Мне нужно было дружить с ним и спать с ней, скажем просто и грубо. Мне это и в голову не приходило. Мне это еще как приходило в голову – как приходят нам в голову разные фантазии и прожекты, которые мы сами знаем, что не осуществим, не решимся (бросить все, устроиться работать в лесничество, жить отшельником, наблюдать за зверями и птицами). А это была не фантазия, это была возможность (была бы возможность, если бы я не был таким дураком). Он бы не возражал, я уверен. Он бы делал вид (мужьям это свойственно), что ничего не знает, не замечает; а сам бы все замечал – и был бы только доволен. Она, мне кажется, надоела ему еще до того, как они познакомились. О, разумеется, он был во всем джентльмен и держался с нею как джентльмен, но я-то смотрел внимательно, я-то видел, как она ему надоела. Для нее все это было всерьез: эта карельская береза, это красное дерево, эта (ненавистная Ясу) академическая дача то ли в Монине, то ли в Мозжинке, то ли (не помню) даже и в Жуковке, эти поездки в Эквазот и Перуантину, эти диссертации, защиты, банкеты, вообще весь этот ЦАРАПЦАПЦАП. Я теперь думаю (да и тогда я думал), что и ему это было не безразлично, даже очень не безразлично (ему же это даром

не досталось; ей досталось, а ему не досталось), но (и тогда я думал, и теперь думаю) он не любил в себе того, кому это было не безразлично, еще менее того, кому это было важно. Он хотел всего этого (этих вещей, этих денег, этих ресторанов, этих такси); но он не был (как была она) вполне тем, кто всего этого хотел, все это ценил, за все это боролся и всем этим наслаждался. Оттого он взял себе с нею, и с годами брал себе с нею все более, эдакий страдальчески-иронический тон (меня, мол, не понимают и никогда уже не поймут, ну и ладно), который не могу сказать, что очень мне нравился (ей так точно не нравился). Она называла это (намеренно выговаривая по складам) *вельзевульствовать* (не думаю, что сама придумала называть это так; он же, наверное, и придумал, на свою голову). Яша, не *вельзевульствуй*... Конечно, у него были любовницы (у кого не было в ту пору любовниц?); помню, как встретил его на улице (по-тогдашнему) Горького, возле Центрального телеграфа (где почему-то все всех встречали в ту фантастическую эпоху), в один из тех невыносимо жарких, душных, пыльных предгрозовых и томительных дней, когда только случайно оказываешься в Москве, не на даче, почему вся мужская половина улицы была в (каких-то, какие уж тогда водились) футболках (наверняка без надписей; в футболке с надписью *homo sovjeticus* на улицу не выходил: не решался, смущался), или в рубашках с коротенькими рукавчиками, и только один Яс – в потрясающем, пижонском, холщовом, с большими пуговицами, принципиально помятом пиджаке, под руку с высоченной, выше его (хотя он тоже был роста немаленького) девицей в очень заграничном, очень коротком летнем прозрачном платье, необыкновенно удачно обнажавшем ее великолепные ноги (предмет зависти и восторга всей улицы Горького, даже и самого Горького, Алексея Максимовича); девицей (имя забылось), оказавшейся мастером спорта и чуть ли не чемпионом чего-то (Европы, Галактики) то ли по гандболу, то ли по бадминтону (тоже не могу теперь вспомнить); явно шли они в сторону «Метрополя», где в другой раз (зимою) подсели к нам две (иначе не знаю, как сказать) фифы (Инна и Зина? или Аня и Таня?), очень веселые, очень хорошенькие, очень крашенные блондинки, одна из которых (хочется верить, что Инна, но может быть, Зина) так клала руку на Ясову, так к нему склонялась и так заглядывала в глаза, так посмеивалась, таким доверительным шепотком договаривалась с ним о свидании назавтра, что уже ни у кого, ни у меня, ни у официанта (порывавшегося и ей рассказать о достоинствах судака-орли) не оставалось сомнений в их близости; для того и проделывала все это, чтобы сомнений ни у кого не осталось; Яс не только не пытался ее утихомирить, но подыгрывал ей с явным удовольствием, с вызывающей и шальной усмешкой; вторая же фифа (предположим, что Зина, но возможно, что Инна) делала мне не очень понятные знаки глазами – отнюдь не строила глазки, – но скорее подмигивала, показывая на Яса, в том, видимо, смысле, что вот, Яс такой странный, вместо того чтобы выгуливать в «Метрополь» свою Инну (с подружкой), выгуливает патлатого мальчишку, то есть меня же, который, если таков был смысл подмигивания, при этом словно раздваивался: один был тот, кого Яс и выгуливал, другой должен был вместе с Зиной этому удивляться. Поскольку мальчишка был еще очень глуп, он не мог (дожидаясь судака-орли) не подумать о самосознании как раздвоении сознания, то есть о распадении сознания на собственно сознание и сознание сознания, о субъекте эмпирическом и субъекте трансцендентальном, о том, что «я мыслю» должно, по словам Канта, сопровождать все мои представления. Должно-то оно должно, но всегда ли сопровождает? Вот роковой вопрос, который я задавал себе, вместо того чтобы заняться второй фифой (Инной уж или Зиной) или заняться наконец Тамарой Сергеевной, чего ей явно хотелось.

А ей хотелось этого, теперь я уверен. Я был (смею думать) довольно хорош собою, несмотря на патлы и усики (или благодаря им). Я ходил в джинсовой курточке (на зависть другим первокурсникам), очень коротенькой, имевшей обыкновение задирается у меня на спине, когда я наклонялся или садился на корточки; такое же, помню, обыкновение было у водолазки, не черной, но, кажется, красной, скорее бордовой, которую тоже купил я, поди, не в магазинах «Москвошвее» (пижонство в моей жизни уже начиналось, хотя до Яса было мне далеко, да и

таких возможностей не было у меня). Мы сидели однажды на корточках на полу, у него дома, рассматривая то ли какие-то гравюры, то ли какой-то громадный альбом (из тех монстрообразных альбомов по искусству, которых ни на диване, ни на диванном столике не разложишь); вдруг склонилась к нам (в своей черной водолазке) Тамара Сергеевна. Тебе не холодно? – спросила она, проводя (теплой, мягкой, плотной) ладонью сперва вверх, потом вниз по этой моей голой спине. Подозреваю, что я покраснел. Покраснеть-то я покраснел, но ничего не последовало из этого. Ничего ни из чего не последовало. А были еще знаки, намеки. В другой раз я позвонил Ясу; подошла она; его не было. Она сообщила мне, что вечером уезжает на дачу (в Монино? в Мозжинку?); она уезжает, а он нет; он позже приедет... наверное. И ты приезжай; что тебе делать в городе? Мне было что делать в городе; но я долго жалел потом, что не поехал, что не понял намека, не услышал придыхания в голосе или сделал сам с собой вид, что намека не понял, придыхания не услышал. Мы же всегда делаем какой-то вид сами с собою. Если б не делали, как, наверное, преобразилась бы наша жизнь... Все-таки я был слишком сильно увлечен им самим. Мне хотелось с ним говорить о ван Эйке, о Рогире, о пересечении параллельных линий в бесконечности перспективы, о самосознании субъекта, о Николае Кузанском и его ученом неведении. Потом (очень скоро) я начал сходить с ума от любви (отнюдь, увы, не к Тамаре Сергеевне; к просто Маре, без «та» и без отчества), и Яс (ненадолго) сделался чем-то вроде моего конфиденанта.

А между прочим, тогда как раз вышел (впервые в Совдепии) темно-красный, скорее бордовый (в цвет моей водолазки) двухтомник Николая Кузанского в русских переводах, и мне очень, я помню, понравилось, что бесконечная максимальная линия есть одновременно треугольник, круг и шар, и что математика лучше все прочих наук помогает нам в понимании божественных истин (а я математикой уже начинал заниматься всерьез... или почти всерьез), и что все на свете связано некоей соразмерностью, которую мы стремимся постичь, но, в силу бесконечной ее природы, никогда вполне не постигнем. Для меня это были лишь метафоры чего-то... я сам не смог бы сказать чего, и скоро я научился мыслить иначе, но все же читал это с наслаждением, с таким удовольствием, что даже запомнил зимний день, понемногу погасавший за окном моей комнаты (на «Юго-Западной», где еще я жил тогда с папой и мамой), и как я сидел на диване, глядя рукою его ворсистый валик, ногу закинув за ногу, отрываясь от чтения, глядя на замиравшее над белыми домами, белыми крышами морозное, в розовых росчерках, небо. Кто сказал бы мне тогда, что через сорок лет вместе с моей прекрасной спутницей и подругой, на спортивном, львино-рыкающем «Астон Мартине» я буду сворачивать с бывшей военной дороги, идущей по кряжу Хунсрюка, чтобы спуститься в долину Мозеля, в городок Кус (Kues), где Николай Кузанский (Nikolaus von Kues, или Nicolaus Cusanus; его настоящая фамилия была Kryffts, то есть Krebs, то есть рак; по-русски быть бы ему Колей Раковым) родился на самом пороге важнейшего для нас с вами (не правда ли?) пятнадцатого столетия, в 1401 году, в семье торговца и судовладельца, очень небедного (если верить биографам). Городочек (Кус) такой маленький, что пришлось объединить его с городочком на другом берегу Мозеля (Бернкастелем), чтобы получилось хоть какое-то подобие населенного пункта; дотошливая Жижя сообщила мне, заглянувши в свой верный айфон, что по данным последней переписи в нем (то есть и в Бернкастеле, и в Кусе вместе взятых) насчитывалось 7134 жителя; интересно, кто из них посвятил свою жизнь ученому неведению, постижению бесконечного максимума и созерцанию единства противоположностей? Большинство, боюсь, посвятило ее получению профита с курортников и туристов, приезжающих сюда ради пеших и велосипедных прогулок по извилистым берегам реки, по окружным виноградникам и холмам – и ради, разумеется, мозельвейна, следы неумеренного потребления коего (не одной Руси есть веселие пити) обнаружили мы в виде огромных, из толстой проволоки, ящиков, если угодно – контейнеров, целиком заполненных пустыми бутылками, что (я подумал) дало бы, например, Ясу (после мозельвейна в особенности) хороший повод как-нибудь сострить насчет *заполня-*

ющей пустоты. Мир переполнен пустотой, сказал бы он (я подумал); вот, зрим, прямое тому свидетельство.

Мир (переполненный пустотой) еще не закрылся; но все уже было очень странно. Погода начала портиться, тучи мрачнеть. Дождь еще не шел, но явно стремился пойти. Было наводнение, как часто на Мозеле; бурливая, грязно-желтая вода разлилась по прибрежной стоянке; машину у дальней кромки еще можно было поставить, но не было уверенности, что, вернувшись, не застанешь ее затопленной; один бойкий белый «Фольксваген» объезжал другие, мирные машины, разбрасывая брызги из-под колес, воображая себя, похоже, амфибией, если не субмариной; косые линии разметки тоже уходили под воду, иногда все же светлевшую, даже сверкавшую, отражавшую облачные разрывы, небесные проблески. Мы долго стояли на мосту, глядя на этот разлив реки, синие знаки парковки, одиноко торчавшие из потока, бетонный причал для прогулочных катеров с готовыми оторваться от него красными сходнями, белые палки виноградников по холмам, рыжий кустарник над ними, далекие темно-лесистые склоны. Домишки жалобно жалась к реке; в таких городках еще видно, как мало места занимает человек в этом мире, как все вокруг его превосходит, его превышает.

Места мало, но времени иногда много; приют для престарелых, основанный Кузанцем (уже кардиналом, папским легатом, генеральным викарием Папской области) в 1458 году, за шесть лет до смерти, в своем родном городишке, существует, как сказано, до сих пор: двухэтажное белое здание, по местным меркам вполне внушительное, с красно-кирпичными карнизами и торцами, с высокой серой крышей, с выпирающими, как и полагается им, контрфорсами, готическими, как им и полагается, окнами встроенной в него церкви, с высоким, острым, в разорванное небо взлетающим шпилем, с золотым не-пушкинским петушком на кресте; через пятьсот шестьдесят два года после его основания мы просто зашли в него, повернув направо с моста; в церкви, еще открытой для посетителей (в отличие от собственно приюта и, увы, редчайшей, ценнейшей, по свидетельству знатоков, библиотеки Кузанца, хранящейся там по-прежнему), первым делом устремились, разумеется, к алтарю. Потому что вот он, Николай Кузанский, каким я впервые увидел его в первом томе того бордового (в цвет моей водолазки) издания (Москва, «Мысль», 1979 год); там он был черно-белый; и был только он, а на самом деле это трехстворчатый алтарь (складень), в срединной, самой большей части которого изображены известные события на Голгофе – три креста, на них два криво висящих разбойника и прямо висящий Иисус, под ними множество святых женщин с нимбами и не святых мужчин на конях, отчасти и пеших, и на самом переднем плане, ниже всех и ближе всех к зрителю – две коленопреклоненные фигурки, непропорционально маленькие по сравнению с другими, отчего они как будто выпадают из картины, оказываются не по ту, а по эту, нашу сторону незримой границы, отделяющей нас от изображенного, не внутри, а снаружи, или, лучше скажем, сразу и внутри и снаружи: Кузанец (донатор) и еще кто-то в белом (служка, спутник, откуда я знаю?). Они часто рисовали донаторов, эти средневековые, эти ренессансные художники, и ван Эйк, и Рогир, и все остальные (узнал я еще от Яса, сорок лет назад, в другой жизни): тот, кто дает деньги (на строительство церкви или приюта, или просто заказывает картину для приюта, церкви, чего угодно – как, скажем, канцлер Ролен заказал ван Эйку свою Богоматерь, как заказал ее же ему же некий каноник ван дер Пале для своей церкви в Брюгге, откуда она переместилась в музей Грунинге, в Брюгге тоже, где и перед каковой картиной нам с Жижи суждено было вскорости оказаться – знали бы мы, после какой встречи, с кем): тот, следовательно, кто дает деньги, имеет право (по их невероятной логике) увидеть свой собственный образ в обществе всех Марий, всех святых, самого Распятого, заодно и Дисмаса с Гестасом.

Этот алтарный триптих, по утверждению всезнающего айфона моей прекрасной Жижи (смейся, смейся), создан был безымянным кельнским художником, которого историки вынужденно называют «Мастером жития Марии», по его самой известной работе, тоже алтарной, тоже с донатором, сохранившиеся створки которой висят в мюнхенской, опять же, Пинако-

теке; я обожаю их; в особенности одну. Он считается продолжателем Рогира, этот безымянный кёльнский мастер; были ли они знакомы друг с другом? Скорее всего, были (утверждал в 1995 году Яс, стоя перед этими створками, одной в особенности, которую с самого начала мне хотелось ему показать); скорее всего, кёльнский мастер бывал во Фландрии в молодости, прежде чем возвратиться на Рейн создавать свои собственные шедевры. А это шедевры? Конечно. Впрочем, они оставили его (показалось мне) равнодушным; даже ангелы, похожие на маленьких крылатых человечков (из какого-то, что ли, комикса, из детской книжки или из детского сна), его не вдохновили, разве что позабавили; я же, попадая в «Пинакотеку», вторым делом (первым – к Рогиру) иду к этой створке, изображающей так (по-русски) называемую «встречу Марии и Елизаветы» (по-латыни: *Visitatio Mariae*, по-немецки: *Mariä Heimsuchung*, удивительным образом), когда будто бы забеременевшая от Святого Духа Мария отправилась в гости к своей кузине Елизавете, в свою очередь забеременевшей (не от Святого Духа, но тоже не последним человеком – будущим, ни много ни мало, Иоанном Крестителем, или Предтечей, знакомство коего с тем, кого предстояло ему возвестить, произошло, следовательно, еще до рождения обоих; я сам, помнится, учился в одном классе с сопливым мальчишкой, с мамой которого моя мама ходила в одну и ту же женскую консультацию, о чем обе мамы любили вспоминать на родительских собраниях); эти-то две беременные (беременность их почти незаметна), одна с непокрытыми волосами (потому что будто бы девственница), другая с закутанной белым головой, но с нимбами – обе, встречаются здесь на чудном, одновременно средневековом и ренессансном, фоне. Он средневековый, потому что он – золотой; потому что есть это золотое, светящееся, метафизическое небо, зримое только духовным зрением; не только всегда безоблачное, но безоблачное по определению, не допускающее самой возможности каких бы то ни было облаков, случайных подробностей, необязательных акциденций. А под этим средневековым небом – уже возрожденческий дальний план, синие горы, башни, город, дорога, путники на этой дороге; уже перспектива, и значит (при всех возражениях против сей почтенной теории), уже намек на бесконечность, не только божественную. Самое прекрасное (говорил мне когда-то Яс) – это мгновение перехода; волшебная грань между *уже* и *еще*... Но здесь самое прекрасное – ангелы; умильные темно-синие ангелы, похожие на крылатых человечков, на персонажей комиксов, детских книжек, на суперменов и бэтменов; или, может быть, на летающих людей Леонардо (о которых вряд ли мог знать безымянный кёльнский мастер, его современник). Знать он не мог, но духовным зрением все-таки видел (прозревал, как говорили когда-то). Вот так бы выглядели летающие люди Леонардо, если бы ему удалось построить один из фантастических своих аппаратов... Это там, в Мюнхене. На здешней кусовской картине никаких ангелов нет (к сожалению); но есть и этот средневековый золотой фон, и этот возрожденческий задний план с невысокими голубыми горами (теми же, через которые мы только что ехали), с башнями (мимо которых только что проезжали). А вот интересно (спросил я Жижи), редакционная коллегия издательства «Мысль» Института философии Академии наук СССР, когда в 1979 году выпускала в свет двухтомник Кузанца (с черно-белой репродукцией его изображения, на которое мы смотрим теперь вживе и в цвете), нарочно подобрала обложку под цвет его мантии? Совпадение с моей водолазкой было случайным, не сомневаюсь. Мантия, короче, оказалась густо-бордовой, а вот его шляпа (лучше, наверное, шапка?), на завязочках за спиной, поразившая меня еще тогда, на репродукции, своими размерами и тем, что она так смешно, по-детски, держится на шнурочках, – шляпа (шапка) эта оказалась ярко-, ярчайше-красной (как, видимо, кардиналу оно и положено); что до лица и взгляда, то лицо и взгляд оставались такими же, какими я помнил их с юности. Взгляд был по-прежнему устремлен ввысь, в горный мир; а лицо было суховатое, современное, здешнее, немолодое.

Еще есть в Кусе дом, где он родился, чуть дальше по затопленному берегу Мозеля; не один лишь дом, но и музей в этом доме. Мы туда не попали; музей был закрыт. Мир уже закрывался, и музей был закрыт. Он не потому был закрыт, что мир закрывался, а просто потому,

что в этот день (воскресенье) был у него выходной, и если не весь день был у него выходной, то в это время (во второй половине дня) уже начался у него выходной (о чем мы не знали, заранее не подумали, узнали только в пути, посмотревши в верный айфон). Все же был он закрыт (и мир уже закрывался). Еще не были закрыты кафе, еще и рестораны работали. И там везде людей было множество, в каждом ресторане и в каждом кафе, в которое мы заглянули. И все они были тесные, душные, плюшевые. Нет ничего пошлее этого плюшевого, рюшевого немецкого уюта; ничего неуютнее этого немецкого плюшевого, рюшевого уюта. И уже страшно было заглядывать куда бы то ни было; уже невольно мы спрашивали себя и друг друга, кто каким вирусом вот сейчас на нас дышит (продавщица, официантка, молодая пара с большой, белой, грустной собакой, турецкое семейство со всем набором бабушек и детишек). Все-таки посидели мы в угловом кафе (оно же булочная) у моста, выпили кофе и съели по сухому сэндвичу, глядя на по-прежнему разлившийся Мозель, на воскресно-празднх приезжих, тоже, похоже, устремлявшихся в плюшево-рюшевые кафе, под начинавшим крапать дождем, на двух сереньких монашек, устремлявшихся, очевидным образом, отнюдь не в кафе, но прямо в Царство Божие, решительным шагом, на трех (почему и откуда?) индусов (двух индусок в чем-то очень цветном и пестром, одного индуса в европейском пальто), устремлявшихся, наверно, в Нирвану.

Итак, еще раз: что для нас Бельгия (куда мы устремляемся)? Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя... Всегда я спрашивал себя, почему именно бельгийский, почему не английский, французский? Потому что звучит лучше, интересней и неожиданней? Английский пистолет, подумаешь! А вот бельгийский... И вовсе даже не потому, отвечала всезнающая Жижи (уже в машине, усаживаясь за руль). А потому бельгийский, что в Бельгии, и даже не просто в Бельгии, но именно в Льеже (где мы собирались заночевать), а еще точнее под Льежем, в городишке Эрсталь, находился и находится один из крупнейших, мощнейших, важнейших в Европе оружейных заводов – завод, делавший, в частности, «браунинги», так что Гумилев, скорее всего, именно «браунинг» подарил кому-то (все уже давно забыли кому) в этих стихах, вместе с портретом (фотографическим, надо думать) несчастного Николая, отнюдь не Кузанского... А что еще для нас Бельгия? Твое прозвище, Жижи (сказал я Жижи). И это тоже связано для меня с Ясом (как столь многое в моей жизни). Но что мы помним? – вот вопрос, который я задаю себе снова и снова. Мы делаем вид, что помним. Мы думаем, что было так-то и так-то, но мы не уверены. Возможно, было так. Но возможно, было иначе. Он позвонил мне (вот, по-моему, как было дело) с предложением взять такси и поехать к нему на дачу (в Мозжинку? в Монино?), где он терпеть не мог находиться, где все-таки временами оказывался; просто взять такси и немедленно ехать к нему на дачу, потому что там есть поселковое кино, и в этом поселковом кино, удивительным образом, сейчас будут показывать фильм, который давно уже нигде не показывают, который его, Яса, поразил еще в детстве (а он никогда не говорил о своем детстве; вообще никогда; обо всем его детстве я только и знаю, что его поразил этот бельгийский фильм, давным-давно пропавший из проката, вообще отовсюду; мне ведь не надо напоминать никому (не правда ли?), что никаких компьютеров, никакого YouTube'a, никаких DVD, даже никаких видеомagneтофонов – видаков, видяшников – тогда еще не было? Они скоро появятся, получают все эти клички). И денег не было у меня на такси (еще бы, до самого Монино!); да и в голову никогда бы не пришло мне ехать на такси до самой до Мозжинки. Он, однако, настаивал (что теперь мне кажется самым из всего этого удивительным); он сообщил, что заплатит за мое такси, что это должно быть последней моей заботой, а чтобы я не сомневался, брал такси и немедленно ехал к нему. Как я ехал, как доехал, как он платил за такси, я не помню. Помню поселковый клуб, душный зал. Вряд ли это был такой зал, какой бывает в деревенском кино, с мелеными (так что лучше не прислоняться к ним) стенами, с фанерными скрипучими креслами, а то и скамейками в первых рядах, со стрекочущим за пробоиной в задней стене аппаратом (такое кино было в моем собственном детстве, не знаю, было ли в Ясо-

вом). Но к тому времени и его, и даже мое детство закончилось, времена изменились, и наверняка (теперь я думаю) это было что-то поприличней, в том академическом поселке (Мозжинке уж или Монине), что-то для докторов, кандидатов, разных членов разных наук; но фильм был старый, середины пятидесятих; и копия была старая, крапчатая, звук плохой, иногда вообще исчезающий. Главное, это был не Алан Рене, не Пазолини, не Бертолуччи, вообще не что-то такое, о чем тогда говорили, но это был забытый людьми и Богом бельгийский, действительно, фильм пятидесятих, в самом деле, годов (кто из нас вообще смотрел какие бы то ни было бельгийские фильмы? да никто из нас ни о каких бельгийских фильмах никогда и не слыхивал), который почему-то крутили в Совдепии в те же пятидесятые, потом спрятали, потому что он никак уж не соответствовал линии партии, постановлениям правительства, заветам Ильича, указам Политбюро. «Чайки умирают в гавани», вот как он назывался, и я тоже запомнил его на всю жизнь, хотя смотрел его уже не подростком, уже взрослым (как мне безо всякого на то основания казалось в мои восемнадцать).

Там идет дождь все время, в этой гавани, этой Бельгии, этом фильме. Он там, может быть, идет не все время, но мне так запомнилось – и так говорит его главный, таинственный, печальный, измученный угрызениями совести, непонятно от чего и от кого убегающий персонаж в экзистенциалистском плаще с криво поднятым воротником, голодный, несчастный и загнанный, мечтающий уплыть куда-нибудь к черту из этой Бельгии, этой гавани, этого фильма. А там было много прекрасного, в этом фильме. Там были промышленные пейзажи незабываемой прелести и печали, газгольдеры, баркасы, пакгаузы, подъемные краны, пустыри, бетонные громады новостроек прямо за пустырями, рок-н-ролл в портовом кафе, лебедки, тросы, сараи, склады, каналы и доки, черный дым над фабричными трубами, нефтяные разводы, бьющие в борт кораблей, проститутки, мошенники, пьяные шкиперы, Рембрандтовские темноты, контрасты, внезапные ракурсы – и та отстраненность, та волшебная, трагическая странность, которая достигается лишь черно-белой съемкой, которая была когда-то в настоящих, послевоенных фильмах, которую уничтожила цветная поганая пленка с ее примитивным, пошлым правдоподобием (в живописи цвет – все, в кино – конец всему, говаривал Яс). И там была девочка по имени Жижи, чем-то похожая на тебя, Жижи (говорил я Жижи). Или ты бываешь похожа на нее, когда говоришь что-то детское. Когда я беру тебя за руку и говорю: у тебя рука горячая, а ты на меня смотришь, потом думаешь, потом отвечаешь: а у тебя – нет, тогда ты – Жижи (говорил я Жижи). Или когда я спрашиваю, есть ли у нас чистое полотенце, и ты мечтательно отвечаешь: где-то там есть; потом думаешь и говоришь: лежит где-то там; потом еще думаешь и говоришь: лежит себе, валяется; потом спохватываешься – и приносишь чистое полотенце, тогда ты – чистейшая Жижи, чистой воды Жижи, восхитительная Жижи, обожаемая Жижи (говорил я Жижи). И конечно, эта девочка с мячиком и рисунком *грустного человечка* в неловких руках – сирота-француженка, никому не нужная и никем не любимая, – конечно, только она одна понимает убегающего от полиции и своей же тоски героя; и это звучит сентиментально, но это так было снято и сыграно, что сентиментальным не показалось мне ни тогда, ни впоследствии, через много лет, когда, благодаря интернету, я смог снова посмотреть этот фильм, и почему бы нам с тобой, Жижи, не посмотреть его вместе, когда мы доедем до гостиницы, если там будет связь хорошая, или не посмотреть его завтра, когда доедем до Бланкенберге, и да, разумеется, если ты захочешь, я перестану называть тебя так, но я все же очень надеюсь, Жижи, что ты не захочешь, потому что я привык уже к этому, да и Яс бы, наверное, посмеялся, порадовался, если бы услышал, что я так тебя называю. Уже не услышит. И как смириться, как жить теперь с этим? А ведь вот же мы живем, Жижи; как-то живем без тех, кого когда-то любили. Он так, я думаю, чувствовал себя подростком, в своем, мне неведомом, отрочестве. Взрослый человек, в здравом уме и без особых на то причин, исключительных обстоятельств, не может так себя чувствовать. Но что-то от этого загнанного подростка всегда остается в нас, до конца оставалось в нем. Мир ловил меня и не поймал? Как же, как же... Мир

ловил меня и, конечно, поймал. Рано или поздно ловушка захлопывается. Она может выглядеть так или иначе, эта ловушка. Она может притвориться немецким гемютным городишком с плюшево-рюшевыми *кафешками* или превратиться в бельгийский забетонированный ландшафт со всеми его газгольдерами. Гибель наступает нас там и там. Ей вовсе не надо являться нам в образе полицейских на мотоциклах, в круглых белых шлемах и еще военного времени сапогах, со странно маленькими пистолетами (сделанными, поди, подо Льежем); простого гриппа достаточно, чтобы с нами расправиться; не говорю уж о коронавирусе (или как там его зовут?). Но еще мы *рыпаемся*; еще куда-то катим на «Астон Мартине», черт знает куда и зачем; еще надеемся, что нас не догонят, как до самого конца надеется (или уже не надеется) несчастный герой незабвенной картины, в последней долгой секвенции только бегущий и бегущий, под барабанную дробь, мимо складов и доков, через разводные мосты, по бесконечным промышленным лестницам, уводящим прямо в никуда, прямо в небо.

Забетонированный мир начался, как только мы въехали в Бельгию; сразу или почти сразу пошли послевоенные эстакады; склады и фабрики; потом прервались; потом снова пошли. Дождь, в свою очередь, пошел уже окончательно, уже пустился хлестать по ветровому стеклу, явно показывая, что заканчиваться не входит в его намерения, что он и не закончится, пока мы не уберемся из Бельгии, что нечего было нам ехать в эту Бельгию, что он, дождь, спровадит из этой Бельгии всех заявившихся сюда дураков, потому что нечего им делать тут, дуракам, даже на «Астон Мартине» (нашлись тоже пижоны). Мы упорствовали до самого Льежа; долго ехали по промышленным пригородам, потом вдоль Мааса, который оказался весь застроен постаревшими параллелепипедами, порождениями примитивного конструктивизма, обрюзглыми, грязными, иногда, но редко позволявшими промелькнуть перед нашим разочарованным взором какой-нибудь ложноклассической цитате (фронтону, колонне). Из одного туннеля мы никак не могли выехать, в другой никак не удавалось нам въехать. Наконец оказались мы на более или менее центральной площади, с намеком на скверик и статую, перед «Макдоналдсом» с нищими неграми на ступеньках его, перед гостиницей с белыми бродягами на ступеньках и под навесом. Мест там не было, да и оставаться там не хотелось. Еще покружили мы по невнятным улицам, под все более сильным дождем; наконец нашли номер в гостинице подороже, получше, где, впрочем, девушка на рецепции не умела вообще ничего, пять раз, улыбаясь все радостнее, вносила номер моего паспорта в ошалевший от ее усилий компьютер, в конце концов позвала из-за стойки бара усатого юношу, который, тоже поковырявшись, ничего не добившись, в свою очередь позвал начальницу-арабку, пожилую и полную, каковая, не улыбувшись, справилась с непосильной для ее подопечных задачей одним клацающим кликом. Вот реальность, в которой мы растворяемся. Мы ищем гостиницу, мы теряем себя. Мы ждем, пока они справятся с их кретинским компьютером, стучим по стойке кромкой кредитной карточки, осматриваемся в холле (темный угол, глубокие кресла, две девицы в углу, выставяющие из кресел черно-чулочные, костляво-коленные ноги, на радость новоприбывшим), берем в руки проспекты с перечислением местных достопримечательностей, еще какие-то листочки (на каждом по вирусу) с перечислением еще чего-то (ресторанов, аттракционов), опять осматриваемся в холле (бильярдный стол с брошенными киями; а я в бильярд не играл, наверно, лет сорок); просим дать нам номер потише, с окнами не на улицу; еще раз просим дать нам номер потише (с окнами не на улицу); наконец получаем ключ (в виде карточки); идем к машине (мигавшей всеми своими аварийными огнями в запретном для остановки месте; «Астон Мартину» закон, впрочем, не писан; плевать ему на запреты); загоняем ее, скрипя тормозами и шинами, в мрачнейшую, с облупившимися стенами, беспробудно-бетонную, круто-выражную парковку, на самый седьмой этаж; тащим вещи в гостиницу. Это просто жизнь, Жижи; вот она такая; ничего же страшного не происходит. Ну ровным счетом не происходит ничего страшного; никто за нами не гонится; никто не преследует; ни одного полицейского мы за всю дорогу не видели; немного проголодались; сейчас пойдем ужинать. А вот вдруг тоска существования

обрушивается на нас всей своей тяжестью; реальность – всей своей беспросветностью; и непонятно, что с этим делать; как справиться.

В эпоху Цеденбала, Нетто и Брутто я верил, что это не навсегда. Что есть (должен быть; ведь не может не быть его?) какой-то способ справиться с этой тоскою – которая и в ту пору захлестывала меня беспощадными волнами (куда более беспощадными, чем теперь, если вдуматься; теперь-то я привык уже к жизни); сбивала с ног; или вынуждала пускаться во все тяжкие, во всякие глупости (от девок до анаши). Все же я отказывался признать ее окончательность. Какой-то, верил я, должен быть способ с ней справиться; какой-то должен быть выход. Я ждал от Яса важнейших слов, решения всех загадок. Я понимал, что глупо ждать их от кого бы то ни было, но все-таки и по-прежнему ждал. Не верил, что он мне может сказать их, – и все-таки верил в это. Еще я верил, что если Мара перестанет морочить мне голову, то все наладится, все будут счастливы. Не верил и в это. Все-таки верил в это. Поверил в это чуть ли не с самой первой минуты, когда столкнулся с ней в лифте, по пути на какую-то (прости господи) вечеринку на какой-то (решительно не помню какой) заметенной снегом московской окраине (Беляево? Бирюлево?): лифте (теперь я думаю), мало чем отличавшемся, в сущности, от того, в котором (спустя вечность) мы с Жижи поднимались в наш гостиничный номер в бельгийском городе Льеже, куда зачем-то приехали (что за Льеж? что за глупости?), потому что лифт есть лифт, и всегда в нем тесно, всегда в нем джентльмен и дама оказываются в интересной близости друг от друга (не правда ли, *mon amour*?), даже если это затхлый советский лифт с неприличными царапинами на голубеньких стенках и двумя дверцами, которые, со скрипом и неохотой открываясь, образуют проем слишком узкий даже для одного, даже молодого и стройного человека, мужского уж или женского пола, тем более если на дворе, в Москве и в мире зима, снег, мороз, и оба персонажа в тех тяжелых шубах, которые тогда еще носили, которые теперь уже мало кто носит, даже в Москве (не говорю уж о мире). То есть на мне была дубленка (как вы догадались); я уже был вполне себе пижон, через пару лет после знакомства с Ясом; хотя денег у меня по-прежнему не было (моя бабушка, помнится, *отвалила* мне, говоря ужасным языком эпохи, сто или сто-и-сколько-то рублей на эту дубленку, к недоумению и негодованию родителей; мы с Ясом ездили покупать ее в комиссионный магазин – *комиссионку*, говоря тем же языком, – в Столешниковом, кажется, переулке, где у него, Яса, была – кто б сомневался? – знакомая продавщица, очень почтительно, даже, помнится мне, с придыханием произносившая: Яков Семеныч); а вот на ней, Маре, была настоящая шуба, роскошная шуба, черная шуба; и мы стояли в лифте, невольно, неизбежно прижавшись друг к другу; из чего, впрочем, вовсе не следует, что я тут же и влюбился в нее; вовсе нет; я влюбился в нее в конце вечеринки, в минуту, когда она сообщила мне, что на душе у нее *коломятно*.

На душе у нее – как? На душе у нее – *коломятно*. Что это за слово такое? Да не все ли равно... Что на душе у нее *коломятно*, стало заметно сразу, как только она сняла свою роскошную шубу, размотала длинный шарф (тоже черный), стянула с себя в тесной прихожей зимние (не менее черные, разумеется) сапоги (получив, я полагаю, взамен те неизбежно стоптанные тапки, которые в прекрасной советской стране выдавались гостям независимо от пола и возраста); без шубы и в тапках сразу сделалась ниже и уже; сделалась хрупкой девочкой; ломкой девочкой; девочкой-мальчиком. Под шубой и прочим были черные джинсы, черная кофточка, черные бусы, подведенные черным глаза – вообще все, включая душу и за исключением волос: волосы были белые (крашенные, как вскорости выяснилось). Потом и они стали черными, как все остальное. Под этими (в тот вечер) белыми волосами, уложенными (сказал бы я) скобкой (сверху – челка, по бокам – наискось и назад; почти как на портрете неизвестного мужчины из собрания Тиссена-Борнемисы, перед которым, продолжая утверждать и настаивать, мы некогда познакомились с Ясом) – под этими рогиновскими, но неестественно белыми волосами лицо было полным, широким, не круглым, но скорее квадратным (ты права, Жижи, при такой прическе лицо *квадратеет* неотвратимо), с очень зримыми скулами, и даже не только

скулами, но, под ними, еще какими-то дополнительными (*желваки* зачеркиваю, пишу просто:) выпуклостями (как если бы у нее всегда был легкий флюс с обеих сторон), каковыми выпуклостями (чему я впоследствии не раз был свидетелем) она умела двигать и вправо-влево, и даже вверх-вниз, выражая этим разные чувства, как правило и по большей части – презрение. А глаза (темно-карие: я впоследствии их тоже очень хорошо рассмотрел) не просто обведены были черной краской; они еще и от природы обведены были темными, с желтоватым отливом, кругами; как будто падали в эти круги (как в пруды); выглядывали из этих кругов. Портрет получился не самый привлекательный, признаю. А она была все же красавицей (или так все тогда считали), с этим ее полным большим лицом (которое хотелось взять в руки, в обе ладони, как драгоценное мягкое существо), поразительно сочетавшимся (или как раз не сочетавшимся, но именно потому сочетавшимся) с тонкостью, стройностью, ломкостью всего ее облика, с ее гимнастической гибкостью, которую охотно демонстрировала она, ложась, к примеру, на полничком и отведенными за спину длинными, тонкими, еще более утончавшимися, удлинявшимися при этом руками дотрагиваясь до в свою очередь закинутых наверх ног, до узких ступней, до лодыжек, чуть ли не до колен (ты это тоже можешь, Жижи, я и не сомневался); потом садилась на диван, обхватывала себя руками и, обратив спину к зрителям (обычно скучающим, потому что все это уже видели), тянулась пальцами одной руки к вытянутым пальцам другой; тянулась, тянулась; пару раз, кажется, дотянулась. За сим следовало сообщение, что Ахматова в юности тоже так могла и всем охотно показывала. Подразумевалось, что и она, Мара, проделывает это исключительно в память об Ахматовой, иначе бы и не стала проделывать. В стихах и во всем остальном подражала она Цветаевой. Она, собственно, относилась к той уже с самой ранней юности, признаюсь, бесконечно несимпатичной мне породе стихопишущих (или стихо-не-пишущих, но обычно все-таки пишущих или хоть пописывающих) девиц, которые Цветаеву никогда, ни при каких обстоятельствах не называют Цветаевой, но с придыханием, из глубины груди и души, произносят: *Марина...* В тот вечер и на той вечеринке я этого еще не знал; знал бы, не влюбился? Да нет, наверное, влюбился бы при всех обстоятельствах. Что за вечеринка была, не помню; какая-то; одна из бесчисленных. Ведь это было время вечеринок, время компаний, время Окуджавы в беспомощном исполнении под плохо настроенную гитару. На гитаре она не тренькала, отдадим ей должное, и про склянку темного стекла не пищала; это проделывали другие девицы (круглобровая Нина, теперь известная московская журналистка; почти абстрактная Дина, теперь, по слухам, жена депутата Кнессета, или бывшего депутата Кнессета, или никогда не бывшего никаким депутатом никакого Кнессета неизвестно кого, или вообще никого, или сама депутат Кнессета, или не депутат никакого не Кнессета, или вообще ее не существовало в природе; существовала одна лишь крутобровая Нина, теперь известная журналистка). Еще был (вот он был, это помню) очень смешной, очень толстый, очень молодой (молодыми, впрочем, тогда были все) человек в кудряшках, с пунцовым потным лицом, быстро напившийся, подходивший ко всем девицам по очереди (и к Нине, и к Дине, и к Маре, хотя с Марой шутить было небезопасно) с одной и той же фразой, уж не знаю, им ли самим придуманной, у кого-то подслушанной. Дорогая (выговаривал он, потев и пунцовея), ты прекрасна, как *медленные части Гайдна...* В общем, было весело, шумно и бестолково, как на таких вечеринках должно быть. Ей не было весело, этого я не мог не заметить. Она курила сигарету за сигаретой, пила вино большими булькающими глотками, презрительно улыбалась, с презрительной печалью смотрела темными глазами вокруг себя, словно забывши – и вот вдруг вспомнив, где она, кто эти люди; ни с кем не заговаривала первой; ждала, чтобы к ней подсели, заговорили; в конце концов сняла с полки какую-то синюю книгу; склонилась над ней свои крашенные, неестественно белые волосы.

А когда подняла голову, лицо у нее оказалось другое, простое. Нет, Жижи, не будем преувеличивать, никаких слез не стояло в ее темных глазах; но все же это было искреннее, искренне-растроганное лицо. Я наконец подсел к ней; синяя книга оказалась хорошо знако-

мым мне томом Анненского из «Библиотеки поэта»; тут, ясное дело, трудно было удержаться мне от цитаты, даже от двух цитат (если память в очередной раз меня не морочит) – любимой: про черный силуэт на зеркале гранита; банальной: про слово *невозможно* (которого нет ни нежней, ни печальней... а что я тогда понимал в этом? тогда все еще было возможно). Ну вот и отлично, объявила Мара, захлопывая книгу и ставя ее на место: цитатами, мол, из Анненского ее не удивишь и не покоришь. А я ни удивлять, ни, того менее, покорять ее вовсе не собирался; отошел от нее с облегчением. С любителем *медленных частей Гайдна* (дались ему эти *медленные части*... неужели *быстрые* хуже?) долго, помню, стояли мы на балконе и холоде, где он понемногу трезвел, я наслаждался красотами московской окраины (Беляева? Бирюлева?), ничем, конечно, не отличавшейся от той, где я вырос. Любителя звали Андреем (или не Андреем, но как-то наверняка его звали); с Марой ходил он в одну какую-то поэтическую «студию», на одни какие-то литературные «курсы»; о стихах ее отозвался иронически; предложил почитать свои; я сослался на холод и ветер. Больше поэтов, слава богу, там не было; вообще ничего больше не было; ничего больше не вспоминается; разве что, под конец вечеринки, ее снисходительный вопрос – мне, что я еще читал, кроме Анненского. Ладно уж, так и быть, поговорю с тобой, раз больше здесь не с кем... Мне вовсе не хотелось поддерживать с ней разговор; все-таки я ответил, не менее, поди, снисходительно, но в полном соответствии с истиной, что – вот, только-только закончил *штудировать* Спинозу и *перехожу* к «Критике чистого разума». Она посмотрела на меня как на полного уже идиота; подвигала вправо-влево, вверх-вниз своими челюстными выпуклостями, которые мне уже тогда не хотелось называть желваками; затем, увидев смех в моих глазах, рассмеялась (впервые за вечеринку); опять лицо у нее было другое, простое, живое. Потом и с ней постояли мы на балконе, она опять в черной шубе, я опять в заветной дубленке; и я теперь спрашиваю себя, зачем, собственно, мы все ходили на этот балкон. Мы ходили туда не курить; наоборот, курили (тогда все курили) внутри; от душегубного дыма и убегали, может быть, на балкон, заставленный (вот вспомнил) лыжами (в чехлах и без оных). Или убегали туда от обычной вечериночной скуки? Побывать снаружи, посмотреть извне на невинную банальность происходящего в комнате... Сквозь балконную дверь видны были бутылки на столике, гитара на кресле, длинно-, темноволосая девушка на полу (имя забыто), ее приятель, такой же длинноволосый (имени никто никогда и не помнил), вообще весь очень длинный, набивающий очередной *косяк* длинными пальцами (в кольцах? почему-то видятся серебряные кольца на мужских крепких пальцах); поэт, любитель Гайдна и вовсе, может быть, не Андрей, снова и теперь уже навсегда напившийся, делающий вид, что засыпает на диване, между круглобровою Ниной и абстрактною Диной. А мы видели, что он делает вид. Он голову сначала повесил, потом наклонился к одной из девушек (Нине), так прижимаясь к ней, что и ей пришлось чуть-чуть наклониться от него в сторону, с усталым возмущением кругля свои брови, потом голову ей положил на плечо, потом все той же головою начал съезжать ей на грудь, одновременно стараясь посильнее обнять и по возможности тоже ухватить за грудь другую девушку (Дину, будущую депутатку Кнессета, если она вообще существовала в природе). Мара усмехнулась мне заговорщицки; в темных глазах ее стояло отчаяние. Мы друг друга поняли в эту минуту. Отчего же на душе-то так *коломятно*? – она сказала, отворачиваясь от комнаты к погасающим новостройкам. Я не обнял ее, как мне вдруг захотелось. Я понимал, что могу обнять ее, но, нет, не решился. Я почувствовал душевное напряжение в нас обоих, которого мне было не выдержать (как если бы вдруг, без разбега и подготовки, мы взяли вершину, о существовании которой даже и не подозревали за минуту до этого); потому я сказал что-то тоже невинно-банальное, в том, кажется, смысле, что на душе, да, *коломятно*, но что вином и анашой *коломятности*, наверное, не поможешь. Тогда чем же? Ее темные, обведенные желтым глаза смотрели на меня с мольбой – в ту минуту я поверил, что настоящей. Все же и как ни был я тронут, во мне вдруг обнаружился *ловелас*, к собственному моему изумлению. От *коломятности*, объявил я (или объявил он), помогает хорошая

воскресная прогулка по заснеженной зимней Москве. Если ты дашь мне свой телефон... и так далее. Из этого *далее* проистекли немалые невзгоды, как легко догадаться.

Что до нас с Жиж (спустя вечность), то у нас на душе было тоже вполне *коломятно*, когда мы вошли наконец в гостиничный номер в Льеже (какой, к черту, Льеж?), вполне пристойный и с окнами действительно не на улицу (о нет, отнюдь не на улицу): с окнами на оканчивающуюся прямо тут же (отделенную от нас только узким двором, даже и не двором – просто кубом наскоро нарезанного пространства, серого воздуха) многоэтажно-парковочную стоянку, где мы только что оставили наш погрузившийся без нас «Астон Мартин», на еще какую-то, под углом к стоянке, заднюю стену. Долго стояли мы у окна, уткнувшись глазами в эту бледно-кирпичную, обшарпанно-бетонную задворочную конструкцию, с ржавыми водосточными трубами и длинными черными прорезями этажей, забранными или не забранными металлической сеткой, и в том, и в другом случае совершенно тюремными, пугающей Пиранезиевых. Какое радостное, помогающее жить место... Пойдем ужинать? Да, пойдем скорее ужинать. Дождь идет всегда, как говорит герой любимого фильма про чаек, умирающих в гавани. Здесь гавани не было, но дождь по-прежнему был, дождь все усиливался, струился, журчал и падал, побулькивая, в решетчатые водосточные люки. Под этим дождем, по безлюдному бульвару, вдоль рельсов и заборов, снова вышли мы к смутной площади, с едва намеченным в глубине ее памятником; ресторан на углу, куда гостиничные борцы с компьютером нам посоветовали пойти, обладал светящейся вывеской, большой, забранной пластиком террасой с подогревателями, множеством свободных столиков, быстро бегавшими официантами, другими признаками живой жизни, по которым, как выяснилось, мы успели уже соскучиться.

Почему-то всегда я ем кролика в Бельгии. Ни в какой другой стране я не ем кролика, но в Бельгии почему-то всегда. Что ж, кролик так кролик, и красное вино к нему, и даже если к кролику обыкновенно подают белое, нам на это наплевать, скифы мы или нет, да и неправда, что к кролику подают белое, к кролику (сообщила мне всезнающая Жиж) только тогда подают белое, когда он, кролик, приготовлен в сметанном или, скажем, сливочном соусе, но мы закажем кролика отнюдь не в сливочном и уж в совсем не сметанном, а в винно-, опять-таки, травяном легком соусе, безо всякой (да простят меня музы) лактозы, и к нему отлично пойдет красное вино, вот и оно, и как хорошо вообще сидеть среди людей, слушать их голоса, тем более что их становится все больше и больше, столики, смотри, почти все уже заняты, кролики уже на подходе, все рифмуется, жизнь налаживается. Они все целовались друг с другом, с официантом, потом с другим официантом, потом с кельнершей, потом еще с кем-нибудь, потом снова друг с другом, эти заполнявшие ресторанную террасу бельгийцы, а уже, например, во Франции к тому времени было запрещено целоваться, хотя, как известно, французы тоже большие любители чмокнуть в щечку приятеля, прижаться к подружке. Бельгийцам, видно, закон не писан, вирус не страшен. Плевать им на вирус, бельгийцам этим, как я погляжу. Вот они входят огромной компанией, стар и млад, и дама с завивкой, и господин с бородкой, и все, все, как один, целуются с вертлявым официанчиком, он же сейчас понесет нам все их вирусы, в придачу к закускам и своим собственным, все китайские, все не-китайские, такое будет эй-ухнем, такая наступит ухань, лохань, что... Твое здоровье, Жиж! Давай не будем бояться, постараемся не бояться, возьмем пример с бесстрашных бельгийцев, вот с этой дамы, этого господина, этого юного, смотри, смотри, *приколиста* в кепочке, с синей бородою. Он прямо в кепочке, в черной маечке уселся между дамой и господином, лицом к залу, с радостным блеском в ясных глазах обращая к присутствующим широкое плоское лицо и, главное, широкую плоскую бороду, покрашенную ярко-синей, от счастья сияющей краской. Барб-то блё, но что это значит? Все-таки бывает в жизни прекрасное. Ты думаешь, сумасшедший? По виду не сумасшедший, и он кого-то напоминает мне, только я не могу теперь вспомнить кого, кого-то в кепочке, с бородою, хотя и не синей. Рыжей? Черной? Кого-то в кепочке с черною бородою напоминает мне этот барб-блё, и да, есть прекрасное в жизни, и бояться не надо, даже думать

не надо обо всей этой ухани, лохани, а надо говорить и думать о том, что нас влечет, восхищает, волнует, о том, что помогает нам хоть ненадолго справиться с неизбывной *коломятностью* бытия, о том же, к примеру, Рогире и Николае том же Кузанском, которые тоже, может быть, где-то и когда-то встречались, как скорее всего встречался Рогир с кёльнским мастером жития Марии, а тот, судя по всему, знаком был с Николаем Кузанским, нарисовал же его образ, в обществе Гестаса и всех прочих, по сути портрет его, на который только что (неужели это сегодня было? а кажется, уже так давно) мы смотрели в крошечном, таком идиллическом по сравнению с бетонной Бельгией Кусе, и почему бы нам не вообразить теперь встречу Николая с Рогиром, вот здесь, в этом Льеже (кто докажет нам, что они здесь никогда не бывали? я почти уверен, что они оба бывали здесь), и почему не в каком-нибудь трактире или гостинице, которая вполне могла стоять (ведь могла же?) вот прямо здесь, вот на месте этого самого ресторана, где мы сидим сейчас, где нам вот-вот, я уверен, принесут уже нашего кролика, и во всяком случае (вот что можно сказать с полной уверенностью) Николай Кузанский знал о Рогире, видел его работы, упоминает их в своем относительно позднем сочинении «О видении (с ударением на первом и) Бога» (второй бордовый том моей молодости), *De visione Dei*; сочинении, о котором Яс любил, наверное, говорить больше всего, черными агатами своих глаз глядя на собеседника, или на публику, или на избранных, которых он приглашал, бывало, к себе домой, чтобы прочесть им маленькую лекцию, потом выпить с ними чаю, потом поговорить о чем-нибудь интересном (о том, что хоть чуть-чуть помогает нам справиться с неизбывной *коломятностью* бытия), не обязательно о живописи и не всегда о ван Эйке; и неужели я не помнил? нет, я просто очень долго не вспоминал об этих домашних собраниях, этих домашних (как называл их Яс) *посиделках*, где встречал я разных людей – и мне уже знакомых, вроде музыканта Аркаши, по-прежнему трясшего романтическими кудрями и порывавшегося поиграть Шопена (но здесь ему этого не давали или давали под самый конец сборища, маленькими порциями: один этюд, два экспромта), или очкастко-клокастого *пацана-чувака*, по-прежнему безымянного (кажется, Колю; но может быть, и не Колю; он-то и управлялся, как мне вдруг теперь вспоминается, с домашним слайдовым аппаратиком, пускавшим изображения картин, образы образов на, вот не помню, то ли простыню, то ли специальный экранчик, который, следовательно, тоже был у Яса в хозяйстве), или (закроем скобки) ближайшей подруги Тамары Сергеевны, лыжницы и пловчихи, или, наконец, того толстяка, доктора всех наук, мастера загигать пальцы и говорить непристойности, который (как мне тоже теперь и вдруг вспоминается) не просто мастер был говорить непристойности, но еще и так читать какие-нибудь известные всем стихи, чтобы они получили в его сладких сальных устах уже совсем непристойное звучание, непристойнейшее значение (крошка-сын к отцу пришел, – начинал он с невинным видом, – и спросила кроха: папа, *это* хорошо? – тут уж всем становилось понятно, о каком-таком *этом* шла речь, и папин ответ звучал как стон истомы, выдох изнеможения: да, сынок... неплохо...); помимо всех этих, уже раньше встречавшихся мне, я, следовательно, видел там и людей, мне вовсе еще не знакомых, среди них, но редко, одного из едва ли не самых знаменитых – в очень узких кругах – персонажей эпохи, господина с косым галстучком и в сером костюмчике, про которого все всем рассказывали, что он расшифровал какие-то невероятные, до него вообще не существовавшие в природе то ли коптские, то ли критские клинописи и что он знает половину всех живых языков этого мира, три четверти мертвых.

Еще бывал там некий Василий, человек трогательный и пьющий, гонимый и бедствующий, лысый и длинноносый, нестарый и скособоченный, которому Яс, как я впоследствии выяснил, периодически помогал и деньгами и не-деньгами, вновь и вновь принимаясь устраивать его беспросветно-запутанные дела, и вот о нем уж, Жижи, я никак не могу не рассказать тебе, пока мы все еще ждем здесь, в Льеже, нашего кролика. Этот Василий учился в Тарту (по моему, даже в аспирантуре) у самого (с каким придыханием произносил он это имя) Юрия Лотмана, даже успел побывать на (самой последней и если не самой последней, то самой пред-

последней) Летней школе (как это называлось) по вторичным (как называлось это) знаковым системам, успел и опубликовать статью или две в не менее, чем все остальное (но в тех же узких кругах), знаменитых «Трудах по (все тем же) знаковым системам»; затем пустился подписывать (кажется, все подряд) письма протеста, опубликовал (отнюдь не семиотическую) заметку в «Вестнике РСХД», под своим полным именем (как *подписанту* оно и положено), затем, окончательно осмелев и тоже под своим именем, – в «Гранях»; из аспирантуры был изгнан, из Тарту уехал, загремел в психушку; выйдя оттуда, запил так, что снова оказался в психушке; вновь выйдя, работал то истопником, то сторожем; к настоящим диссидентам все-таки не примкнул, не знаю уж почему; скитался по знакомым, ночевал иногда у Яса, утверждал, что пишет большую книгу, главный труд его жизни, где всё всем наконец объяснит. С ним единственным я встречался иногда без Яса и не у Яса; пару раз ночевал он и у меня, на раскладушке, к большому неудовольствию моих пугливых советских родителей; другую пару раз мы выпивали с ним в каких-то случайных компаниях. После первой рюмки он начинал говорить о знаковой природе сущего, после второй – об означающем и означаемом (по Соссюру и Несоссюру), после третьей – о бинарных оппозициях, после четвертой – о дуальных моделях, а уж на пятой добирались мы до Мирового древа. Все, знавшие Василия, знали, что после пятой рюмки Мирового древа не миновать. Мировое древо трехчленно, как и настоящее дерево. У дерева есть корни, ствол и крона. Мировое древо соединяет подземный мир, загробное царство с миром божественным и небесным. Лучший образ Мирового древа находим мы, на шестой рюмке, в рассказе Набокова «Облако, озеро, башня» (прочитанном собутыльниками в блеклой самиздатовской ксерокопии), где башня есть ствол, смыкающий облако с озером, крону с корнями, высшее с нижним, горнее с дольным. Уберите башню – все рухнет. Образы Мирового древа окружают нас повсюду, в нашей повседневной жизни, хоть мы и не замечаем их. Вот, видите, эта рюмка, уже седьмая? Вот у нее подставка, вот ножка, вот чашечка. Мировое древо чистой воды, ваше здоровье. А стакан – нет. Поэтому из стакана пьют варвары. Настоящий семиотик, он же структуралист, пьет только из рюмки. Или возьмем, например, светофор, объявлял Василий, обнажая гниловатые зубы. Что ж, возьмем его, почему бы его и не взять? Светофор – классическое Мировое древо, объявлял Василий, уже начиная покачиваться. Светофор – трехчленен, как Мировому древу оно и положено. Внизу зеленый свет – можно ехать. Сверху красный – надо стоять. Божественная статика и демоническая динамика исключают друг друга. А посередине – желтый: ни то, ни се, и то, и другое, все сразу вместе, вечное смешение, всегдашняя неразбериха – наша земная жизнь. Отлично, Василий; но как же быть с семафором? Там только два огня; он, следовательно, на Мировое древо уже не тянет? Вопрос о семафоре сбивал Василия с панталыку. Василий морщил лысину, но не сдавался. Василий был по-своему человек героический. Наморщив лысину, Василий выкручивался, ссылаясь, например, на дуальные, уже помянутые модели, якобы свойственные русской культуре в противоположность культуре западной, которой свойственны как раз модели тернарные, отчего русскую культуру можно было бы назвать семафорной, а западную светофорной культурой, и не случайно главный русский роман заканчивается трагической сценой на железной дороге, и да, он, Василий, еще напишет об этом большую книгу, где всё всем наконец объяснит, но *все*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.